

Д. ДОБРОПРАВОВЪ.

Достоевскій—какъ вырази-
тель народной психологiи и
ЭТИКИ.

Цѣна 40 коп.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ ·
Изданіе М. Залшупина.
1904.

Книгоиздательство М. Залшупина.

С.-Петербургъ, М. Московская, 2.

Телефонъ № 2869.

Книжный магазинъ подъ фирмою

„С.-Петербургскій Книжный Складъ“,

Витебскъ, Замковая улица.

- Упырь.** Разсказъ съ предисл. Вл. Соловьева. Спб., 1900 г. ц. 1 р. въ переплетѣ 1 р. 50 к.
- Проектъ постановки трагедіи „Смерть Іоанна Грознаго“.** Спб. 1900 г. Ц. 50 к.
- Quo vadis.** Романъ, Г. Сенкевича. Изд. 2-е. Спб. 1900 г. Въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ ц. 1 р. 50 к.
- На сушѣ и на морѣ.** Разсказы и очерки, В. Власова. Вып. 1—40 к., вып. II—30 к.
- Любовь въ Парижѣ.** Записки Горона, б. нач. парижск. сыскной полиціи. Спб. 1900 г. Ц. 1 р.
- Паріи Любви.** Записки Горона, б. нач. парижск. сыскной полиціи. Спб. 1900 г. Ц. 1 р. 20 к.
- Бояринъ Кучко.** С. Минцлоса. Спб. 1900 г. Ц. 75 к.
- Искусство и Культура.** Этюдъ И. Божерянова. Ц. 50 к.
- Пластическія Искусства.** Живопись, скульптура и архитектура Опытъ эстетическаго изслѣдованія. М. Сыркина. Спб. 1900 г. Ц. 1 р. 75 к.
- Мужикъ.** Романъ изъ временъ до освобожденія крестьянъ М. Песковского. Спб. 1900 г. Ц. 1 р. 30 к.
- Силуеты и размышленія.** Изъ автобіографич. хроники шестидесятника Ф. Добронравова. Спб. 1900 г. Ц. 80 к.
- Прогорѣвшій Романтизмъ Максима Горькаго.** Ф. Добронравова. Ц. 50 к.
- Черты изъ жизни Имп. Николая Павловича.** Н. Ермилова. Спб. 1900 г. Ц. 60 к.
- Книга раздумій.** Стихотвор. К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Дурнова и Ив. Коневского. Спб. 1899 г. Ц. 50 к.
- Освобожденный Прометей.** Сочиненія Шелли вып. VI. Лирическая драма. Перев. Бальмонта. Спб. 1899 г. Ц. 75 к.
- Еврейскіе Силуэты.** Разсказы русскихъ и польскихъ писателей. Спб. 1900 г., въ роскошномъ переплетѣ ц. 2 р.
- Гигіена.** съ необходимыми свѣдѣніями о строеніи и отправленіяхъ человѣческаго тѣла. Женщины-врача Барачъ-Мишле. 90 рис. Спб. 1900 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Уходъ за здоровымъ и больнымъ ребенкомъ.** Книга для матерей и воспитательницъ. Женщины-врача С. П. Барачъ-Мишле. Ц. 60 к.
- Молоко и молочные продукты.** Кумысъ, кефиръ, значеніе ихъ и польза. Д-ра Н. Н. Вакуловскаго. Спб. 1900 г. Ц. 40 к.
- Объ основахъ и организаціи средней школы.** Д. Н. Тихомирова Спб. 1900 г. Ц. 85 к.
- Основы дидактики.** Д. Тихомирова. Изд. 2-е. Спб. 1900 г. Ц. 30 к.
- Къ вопросу о реформѣ системы средняго образованія въ особенности же классическихъ гимназій.** Я. Гуревича. Спб. 1900 г. Ц. 30 к.

Соч. гр. А. К. Толстого, не вошедшія въ полное собраніе сочиненій.

Ф. ДОБРОПРАВОВЪ.

Достоевскій—какъ вырази-
тель народной психологіи и
этики.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание М. Залшупина.
1904.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 31 Января 1903 г

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“ Спб., Фонтанка, 95.

Достоевскій — какъ выразитель народной психологии и этики.

„Фарисеева убѣжимъ высокоглаголанія и мытаревѣ научимся высотѣ глаголь смиренныхъ“.

(Изъ кондака, поющагося православною церковью въ недѣлю мытаря и фарисея).

Нѣчто въ родѣ пролога.

Съ тѣхъ поръ, какъ въ „европейской семьѣ“ начала отчетливо обозначаться „историческая роль“ русскаго народа—общее теченіе нашей мысли стало рѣзко обособляться въ тѣ различные по духу и направленію два уклада, которые къ сороковымъ годамъ получили уже опредѣленную кличку: западничество и славянофильство. Оба они преслѣдовали одну и ту же цѣль—духовное развитіе народа и матеріальное благосостояніе государства. Но принципіальныя основы ихъ теоретическихъ путей и рекомендовавшійся каждому изъ нихъ режимъ практическихъ средствъ, ведшихъ къ желанной-то цѣли, были такъ противоположены, что не представлялось никакой возможности къ ихъ сближенію. Чѣмъ дальше и больше расходились они, тѣмъ шире и глубже разливалось несочувствіе, а стало быть—напряженнѣе и крѣпче становилась вражда. Отуманенный непримиримой рознью антогонизмъ ихъ дошелъ до крайней грани своего развитія—до той черты умственного ослѣп-

ленья, когда одними, въ угоду партійности, не уважаются самыя элементарныя требованія гуманизма и когда другими, во имя гуманитарныхъ идей и подражательнаго прогресса, коверкаются безбожно даже и святыя идеалы своего народа. Начавшись инстинктивнымъ недовѣріемъ сторонъ, вражда эта, еще во время благодушныхъ воспѣваній „птенцовъ гнѣзда Петрова“, успѣла уже вылиться въ весьма типичныя формы тогдашней полемической борьбы. А затѣмъ, съ небольшими перерывами, она тянулась вплоть до нашихъ судорожно-либеральскихъ, или, пожалуй, парадно-литературныхъ приготовленій къ крестьянской реформѣ. И только потомъ, по уничтоженіи крѣпостнаго права, — лучше же сказать, по мѣрѣ сглаживанія рѣзкихъ общественныхъ аномалій изъ него вытекавшихъ, началъ было разсѣиваться по капелькѣ этотъ навѣянный антагонизмомъ туманъ, который все-таки не разсѣялся совсѣмъ и по сіе еще время и который, однако-жъ, говоря по правдѣ, гораздо менѣе застилалъ излюбленныя-то „общечеловѣческія“ перспективы Запада — однимъ, чѣмъ — другимъ, никогда неосвѣщавшимъ ихъ, эти самыя перспективы, религіозно-правственнымъ свѣтомъ Востока.

Да не мѣшало-бъ припомнить здѣсь еще и то, что многія, неясныя и по духу совсѣмъ ужъ намъ чуждыя перспективы сіи приходилось созерцать изъ прекраснаго далека, посиживая у многознаменательнаго и фанатически-упрямо отверстаго „окна“. Оттуда, конечно, нельзя было хорошенько разглядѣть даже и общихъ-то мѣсть всей этой просвѣщенной европейской фразеологіи, не говоря уже про точную опредѣленность тѣхъ философскихъ обобщеній и этическихъ положеній и выводовъ, которые могли бы послужить намъ для лучшаго

уясненія связи бытовыхъ основъ народа съ историческими началами его національно-духовныхъ особенностей.

А разсматривали-то мы, чрезъ это пресловутое „окно“, чрезмѣрно долго и напряженно, такъ-что обезсиленные глаза наши потребовали въ послѣдствіи искусственнаго вооруженія. И вотъ, выдрессированный на славу и насквозь пропитанный ненавистью къ своимъ же національнымъ особенностямъ „московить“ проходить европейскій курсъ атеистическихъ воззрѣній, во вкусъ „просвѣщеннаго деспотизма“, приобрѣтаетъ буржуазную, матеріалистическую близорукость начала прошлаго столѣтія и вооружаетъ свои, когда-то дальнозоркіе глаза розовыми очками узкаго, своенравнаго и до-нельзя чувственнаго романтизма, который для Россіи, съ ея общиннымъ складомъ жизни и преобладаніемъ въ ней родовыхъ началъ, былъ отрицаніемъ историческихъ основъ ея родоваго типа общественности а въ то же время и апоѳеозомъ „независимости личности“. Затѣмъ, охваченный этимъ индивидуализмомъ и увлеченный вѣшностью, онъ уже совсѣмъ по-европейски—съ затаенной завистью и злобой—сталъ созерцать, сквозь эти очки, всѣ радости изнѣженнаго-то досуга, плавающего, какъ сыръ въ маслѣ, въ невѣдомыхъ ему дотолѣ тѣхъ благахъ западной культуры, которые услужливымъ прогрессомъ предназначались для удовлетворенія всѣхъ чувственныхъ потребностей своей излюбленной „всесторонне развитой“ личности. А тамъ, дальше, воспослѣдовала уже всѣмъ знакомая исторія, творившаяся на нашихъ же глазахъ. Свергнувшая свои прежнія нравственныя вериги, не стянутая никакими религіозными узами, да еще и нерегулируемая, какъ то было прежде, родовыми основами великорусской

общественности *) „личность“ эта быстро вошла во вкусъ такъ заманчиво и такъ широко обобщаемой свободы. А разнуздавшись совершенно въ полномъ господствѣ чувственности, еле прикрываемой однимъ лишь фиговымъ листочкомъ чрезчуръ безцеремоннаго утилитаризма — этого благодѣтеля-то Европы, — она тотчасъ же понеслась вскачь, подъ гору тогдашняго безбожнаго глумленья „обличительной“ литературы надъ нашими традиціями. Очень естественно, что потомъ ей скоро пришлось и совсѣмъ ужъ позабыть о бытовыхъ особенностяхъ своего народа, органически сросшихся съ его нравственной стороной и его роднымъ православіемъ... Такимъ образомъ эта отчаянная жажда личныхъ благъ вконецъ распалила досужее воображеніе сей, якобы просвѣщенной-то, личности, разъединивъ ее окончательно съ традиціями своего народа — этимъ единственнымъ хранилищемъ основъ народной психологіи и нашихъ національныхъ устоевъ.

За все это время шатающаяся русская мысль (я подразумѣваю не народъ, не всю націю, а только „передовую“ ея часть — интеллигенцію) въ установкѣ связующихъ ее съ народомъ основначалъ и руководящихъ принциповъ, не сдѣлала ровно ничего. Она прибавлялась одними лишь позаимствованіями, и притомъ такими, кои могли-бы служить атрибутомъ культурности и, въ самомъ лучшемъ случаѣ, бросались-бы въ глаза своимъ нагляднымъ выраженіемъ успѣховъ цивилизаціи. Винить ее въ этомъ, строго говоря, нельзя:

*) Мы говоримъ: великорусской потому, что только великорусъ — общественникъ по преимуществу, въ прямую противоположность малоруссу — крайнему индивидуалисту.

свѣтъ изъ „прорубленнаго въ Европу окна“ исключительно свѣтившій намъ, культурнымъ людямъ, до весьма недавняго времени, былъ свѣтомъ задняго двора Европы, загроможденнаго къ тому же еще и домашнимъ скарбомъ ея достославнаго матеріализма. Пробиваясь сквозь этотъ торгашески-восхваляемый хламъ культурныхъ благъ и чувственныхъ вождельнѣй, онъ очень скудно освѣщалъ наши боярскіе-то хоромы. И счастье наше, что, разсѣваясь тамъ же, онъ не достигалъ хоть избъ „челядинцевъ и смердовъ“. Туда, на эти курныя избѣнки, въ эти крохотныя оконца, обращенныя къ утрепнимъ зорямъ предвѣстникамъ православнаго дня, свѣтъ, благодареніе Богу, падалъ попрежнему-жъ—прямо съ Востока и не претерпѣвалъ, въ противоположность свѣту Запада, никакихъ преградъ, кромѣ самыхъ прозрачныхъ средъ: національности и расоваго уклада мысли. Не матеріалистически-жизнерадостные, какъ на Западѣ, а идеально-возвышенные и предварительно прошедшіе черезъ атмосферу патріотизма, лучи этого свѣта, какъ въ фокусѣ стекла, сосредочивались въ народномъ міровозрѣніи. Отражаясь же оттуда вновь, они давали весьма колоритное освѣщеніе тѣмъ традиціоннымъ устоямъ нашей національности, которые постепенно воздвигались исторіей уже на матерой почвѣ общественности—на религіозной народной нравственности.

А между тѣмъ ей, этой незыбленой почвѣ общественныхъ отношеній, не придавалось никакого значенія ни прежними, ни теперешними „птенцами“. Все сводилось къ одной лишь матеріальной сторонѣ, къ заботамъ о процвѣтаніи въ отечествѣ культурности. И при этомъ не только игнорировался нравственный элементъ, питавшій внутренній міръ народа, а съ помпой учености и

якобы здороваго патріотизма, обнаруживались даже ярыя попытки къ космополитической невеликовкѣ нашего національнаго духа и къ полному обезличиванію нравственнаго типа русскаго народа. Это положительно языческое поклоненіе культурному Мамонѣ и нарочито продѣлываемое равнодушное отношеніе къ нравственному элементу не могло неидти вразрѣзъ съ исконными понятіями массы. И она вполне сознательно сторонилась отъ всякихъ „новшестъ“, какъ бы пророчески прозрѣвая весь будущій траги-комизмъ разлада между „матеріей“ и „духомъ“,—траги-комизмъ, нынѣ такъ рѣзко отмѣчающій своею типичностью всю нашу интеллигенцію. Словъ нѣтъ, что въ этомъ случаѣ она—эта косная масса, заклеянная любителями западной культуры печатью умственной инертности—не умозаключала не дѣлала разныхъ логическихъ построеній, всегда ужь очень тонко, словно бы по канвѣ вышивающихъ эти самые узоры—то просвѣщенно-либеральнаго краснорѣчія. Ей какъ нельзя быть проще и чисто эмпирически пришлось соображать тутъ, что, несочувствуя иноземному, она тѣмъ самымъ берегаетъ основной фондъ своихъ симпатій для расходованія его на поддержку своихъ же, столь близкихъ ея душевному складу традицій: вѣдь, только онѣ одни питали тотъ, завѣщанный намъ исторіей народный патріотизмъ, безъ котораго не создалось-бы внѣшняго могущества и духовнаго величія роднаго края.

Въ этомъ упругомъ чувствѣ національной независимости „блаженные памяти“ западни усматривали нѣчто инертное и косное, неспособное къ жизни и движенію, и ео ipso обреченное на застой,—нѣчто безумно тяготившее къ одряхлѣвшему-де Востоку и къ духовной

ассимиляціи съ „византійской схоластикой“. Порвавъ всѣ связи съ традиціями своего народа, они еще не такъ давно считали его духовно навѣки почившимъ *) и устами народныхъ же, точно въ насмѣшку такъ названныхъ ими поэтовъ, совсѣмъ недвусмысленно, оповѣщали и своихъ, зѣло печаловавшихся о томъ западныхъ собратій. И наоборотъ, въ этихъ явленіяхъ другая группа публицистовъ, именовавшихся славянофилами, прозрѣвала уже нѣчто такое, что, выражаясь въ стремленіи къ самобытности, служить зародышемъ органическаго развитія тѣхъ плодовъ, которые обѣщаютъ отечеству блестящую будущность и даютъ гораздо большую надежду на дѣйствительное-то воплощеніе въ общественной жизни христіанской правды.

И такъ мы видимъ, что два теченія русской интеллигентной мысли, выйдя вначалѣ изъ одного и того же патріотическаго источника, ужъ слишкомъ круто и рѣшительно повернули въ разныя стороны. Онѣ не допускали и самой мысли о возможности своего сліянія,— даже и тогда если-бы оно обѣщало произойти чуть не у самага порога вышеупомянутой общей цѣли: такъ силенъ былъ антагонизмъ между матеріализмомъ Запада и идеализмомъ Востока. Та и другая изъ упомянутыхъ двухъ группъ не только не имѣла, но и не могла имѣть ничего общаго между собою. И очень естественно, что въ этой принципіальной непріязни онѣ заботливо поддерживали весь удушливый жаръ своего увлеченія, совсѣмъ забывая о неизбѣжности угара. А при угарѣ-то ихъ отяжелѣвшія головы уже невольно, изъ чувства само-сохраненія, искали отрезвляющей струи свѣжаго воз-

*) „Парадный подъѣздъ“ Некрасова.

духа. Такой отрезвляющей и—въ общей массѣ—чуждой нравственной порчи струей, послужилъ имъ народъ, за благоденствіе котораго все-также, попрежнему ломались копыя обѣихъ группъ и во славу коего все также—торжественно воскурялись фиміамы либеральнаго демократизма, изрядно-таки портившіе національную-то чистоту состава нашей внутренней политической атмосферы. Мы не будемъ вдаваться здѣсь во всѣ перипетіи этихъ каждой отвлеченному мужичку и даже не коснемся ихъ поразительнаго незнакомства съ мужичкомъ конкретнымъ, а отмѣтимъ лишь одну характерную черту, состоящую въ томъ, что какъ славянофильствующія, такъ и западничающія группы, утомленные этимъ безпростѣтнымъ мыканіемъ отъ одного развѣтвленія своей идеи къ другому, наконецъ, сходятся въ самомъ главномъ пунктѣ: теперь, дескать, надо ожидать всего надежнаго, устойчиваго только отъ народа; только отъ него одного придется услышать „последнее-то слово“. Хронологическая, или лучше сказать, фізіономическая точность литературныхъ направленій обязываетъ насъ замѣтить, что пальма первенства этой категорической формулировки принадлежала довольно солидному, по догдашнему бойкому времени, „органу печати“, чрезъ-то, конечно, и увеличившему число своихъ подписчиковъ.

Впрочемъ, надо оговориться, что воздавая кесарево-кесареви, мы вовсе и не думаемъ вносить здѣсь какой бы то ни было полемической занозы. Фактомъ увеличенія спроса на Суворино-демократическія тенденціи мы пользуемся попутно, какъ свидѣтельствомъ того, что апеллированіе, къ народному чувству нашло выразителей въ большинствѣ нашей интеллигенціи, потому, въ

качествѣ современной Магдалины, уже охотно и довольно смиренно склонявшей свою выю предъ изреченіями „распространеннаго“ органа печати. Быстрый же ростъ популярности этой газеты обусловливался тѣмъ что, выкидывая свой стягъ, съ забористымъ девизомъ „Народъ—все; интеллигенція-жъ—ничто,“ она одинаково муссировала и *парламентарныя упованія западни-ковъ*, и *сепаративно-въчевья въздыханія панславистовъ*. Но что при этомъ было всего заманчивѣе, такъ это то, что она предательски сулила обоимъ группамъ возможность заполученія этого знамени на прокатъ, дабы потрясать имъ, подобно воинственному дикарю—на страхъ своимъ врагамъ во всѣхъ торжественныхъ случаяхъ ихъ діалектической борьбы. А страхъ-то этотъ, въ то при-снопамятное время фетишистскихъ отношеній къ общественно-экономическимъ доктринамъ, обуревалъ положительно всѣ интеллигентныя головы наши. Онъ былъ настолько интенсивенъ и такъ настойчиво требовалъ умилоствленія этого политико-экономическаго фетиша хоть какой-нибудь соціалъ-демократической тендеціозностью, что никто не рискнулъ бы осквернить свою душу ядомъ грѣховнаго въ томъ сомнѣніи. За каждой экономической формулой, да еще съ ношибомъ à la Марксъ; за каждой демократической идей, да еще и съ научнымъ букетцемъ спенсеровскаго эволюціонизма и разложенія,—всенепремѣннѣйше скрывался какой-нибудь фетишъ, злорадно несшій намъ за „прошлые грѣхи“ излюбленнаго отечества, непререкаемую мзду. Это возмездіе если только не послѣдуетъ умилоствленія научнаго фетиша „*коренными реформами*“ неминуему-де обрушиться на злополучное то отечество. Оно сотрется имъ, если не съ лица, земли, то съ европейской карты

позорно отодвинется въ глубь Азіи, въ сибирскія гайги,—туда, куда уже не долетитъ ни западный конституціонный либерализмъ, ни византійское „цѣлокупное единеніе“ въ духѣ аксаковского сепаратно-федеративнаго панславизма. А то и другое было дорого обѣимъ группамъ. Первый былъ дорогъ правовѣрнымъ поклонникамъ космополитическихъ тенденцій и западнаго прогресса, а второй—*право-правляющимъ* идею „органическаго развитія“ и самобытно-либеральнаго движенія.

Такимъ образомъ „*мужичекъ—все*“, съ точки зрѣнія его экономической производительности, стало уже началомъ общимъ, достаточно объединяющимъ воззрѣнія обѣихъ группъ на отношенія общественно-экономической силы народа къ другой силѣ—умственной, хотя матеріально непроизводительной, такъ зато-де животворной, ведущей по пути всяческихъ: и гражданскихъ, и политическихъ, и умственныхъ преуспѣхнй. О нравственномъ же началѣ тутъ совершенно забывалось, какъ о такомъ относительномъ факторѣ прогресса, который научными обобщеніями всегда содержался въ черномъ тѣлѣ: ибо, начиная еще съ Бокля и кончая цѣлой „плеядой“ представителей научно-философской мысли, сдѣлавшихъ „коренной переворотъ“ въ исторіи взглядовъ на развитіе человѣчества,—все это весьма энергично ополчалось на идеалистическій-то укладъ мысли и не признавало за бѣдной нравственностью ровно никакого права на зиждительное значеніе и совершенствованіе человѣческаго духа. Тогда-какъ его другая сторона—разумъ окружалась своеобразнымъ ореоломъ какой-то научной божественности и обращалась въ культъ учености, культъ самодовлѣющій и не имѣющій ничего общаго съ неподвижными со временъ языческаго міра.

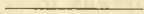
нравственными нормами, отличавшимся къ тому же еще и „условнымъ“ характеромъ относительныхъ понятій. По всѣмъ этимъ вопросамъ уже имѣется на Западѣ цѣлая-де специальная литература, и даже образовалась близкая къ ней историко-соціологическая школа, общившая и систематизировавшая всѣ тѣ, одиноко торчавшіе положенія и выводы, которые, молъ, въ прежнее время были такъ варварски и небрежно разбросаны по разнымъ областямъ знанія.

Поставленная внѣ покровительства научной философіи и вычеркнутая изъ списка осново-началь обще-человѣческаго прогресса, нравственность лишилась такимъ образомъ всякаго права гражданства въ головахъ и сердцахъ почти-что всѣхъ разновидностей интеллигенціи. Затертая грязными руками этой грубоосязаемой полезности и изгнанная изъ прежней роли активнаго фактора человѣческаго совершенствованія сухой и безпощадной теоріей эволюціонизма, она, съ ужасающимъ насъ теперь цинизмомъ, пренебрегалась тогда еще и самой практикой—всемогущей житейской мудростью. И только кое-гдѣ рѣденькіе, сконфуженные бойкими клакерами прогресса голоса весьма нерѣшительно раздавались въ ея защиту; или же, въ полнѣйшемъ уединеніи, тоскливо допѣвалась и лебединая пѣснь ея прежняго первенствующаго въ жизни значенія.—А между тѣмъ буржуазный-то потокъ проповѣдыванія: „пользы и наслажденій!“ вмѣстѣ съ подмывающими звуками: „который былъ моимъ панашей“, бурлилъ и флокоталъ, въ этой духовной пустынѣ культурными вожделѣніями чрезъчуръ ужъ живо,—чрезъ-край рѣшительно, и, очаровывая гармоническимъ соблазномъ чувственныхъ наслажденій, покрывалъ собою, и эти робкіе голоса за-

щиты, и эту аллегорическую грусть лебединой пѣсни. Правда, въ передовомъ отрядѣ социаль-демократической публицистики, на „славномъ посту“ и досель еще пребывающей, по временамъ обнаруживались-таки попытки къ защитѣ этой весьма непопулярной въ „научномъ міросозерцаніи“ изгнанницы. Да и тотъ, если сказать по совѣсти, предпочиталъ сторожить, наипаче всего, только свои излюбленные мотивы. А если онъ и прикрывалъ рѣденькой цѣпью социальныхъ застрѣльщиковъ этическую-то сторону вопроса, то развѣ съ одной лишь демонстративной цѣлью—завербовавъ эту глупенькую союзницу въ свой лагерь, оставить ее потомъ въ засадѣ, на случай обходнаго движенія врагомъ главныхъ силъ социологіи. Да и въ мирные-то времена этой области человѣческаго мудрствованія, такъ дѣланно, но за то и очень ужъ умильно потакавшія праздничному настроенію „соціологической семьи“, униженная всѣми „умными людьми“ нравственность эта принималась ею только какъ весьма рѣдкая гостья; пожалуй, какъ и сосѣдка, у которой придется, молъ, призанять кой-что изъ мелочишки. Но о приѣмѣ ея равноправнымъ членамъ семьи тогда не могло быть и рѣчи: вѣдь, она не обладала высшимъ уровнемъ культурныхъ потребностей и вовсе не исповѣдывала, да и не могла исповѣдывать, тѣхъ позитивныхъ доктринъ, которыя, овладѣвъ „последнимъ словомъ“ европейской науки и разгуливая съ нимъ по всѣмъ либеральнымъ садамъ отечественной словестности, ловко стремились пріобрѣсти литературную привилегію на то, что бы примѣнять это самое последнее-то ихъ „слово“ и къ чаявшемуся тогда новому общественному устроительству.

Въ этихъ узкихъ рамкахъ социалистической тентен-

ціозности, повторяемъ мы, кой гдѣ еще и дѣлалось
принципіальное снисхожденіе этической сторонѣ воп-
роса и даже великодушно допускалось индѣ и побоч-
ное значеніе этой, такъ нагло, но за то ужъ и вполнѣ
научно обездоленной нравственности. Что же касается
до ея религіозныхъ основъ, до нравственности вѣрую-
щей деревни,—до той нравственности, консервативнымъ
представителемъ которой только и могло являться это
самое „мужичекъ—все“, то таковая ужъ ни подкакимъ
предлогомъ не считалась составною и цѣнною частью
тогдашняго умственного груза, а принималась—какъ
баласть, который потомъ, по благополучномъ окончаніи
дальняго плаванія, выкинется прямо—за бортъ ихъ
соціологическихъ кораблей. Мелкія же, парусныя лодки
и всѣ вообще суда и суденушки нашего такъ сказать,
либеральнаго-то собственно каботажа, совершая свое
недалекое—внутреннее плаваніе, не нуждались въ этомъ
баластѣ совсѣмъ, и, при попутномъ вѣтрѣ, обуявшихъ
насъ тогда подражательныхъ реформъ, вздымали только
свои паруса свободы, опасаясь лишь одного политиче-
скаго штиля—„застоя и реакціи“.



I.

Прочли-ли вы о томъ, какъ онъ страдалъ душою,
Когда уча любви враждующихъ людей,
Онъ слышалъ какъ кричалъ, ломаясь предъ толпою,
Съ нимъ рядомъ о любви корыстный фарисей?...

Надсонъ (Памяти Достоевскаго).

При такомъ состояніи умственныхъ возрѣній, первымъ по времени бойцемъ за религіозно-нравственныя начала выступилъ на литературную арену Ф. М. Достоевскій, близкій, по своимъ убѣжденіямъ, къ группѣ славянофиловъ, но и не отрицавшій, какъ мы увидимъ потомъ, своего духовнаго родства и съ Западомъ.

Въ своемъ замѣчательномъ романѣ „Преступленіе и Наказаніе“ онъ первый далъ, въ лицѣ Раскольникова, яркій психологическій этюдъ внутренней борьбы, происходившей между социальными догмами научныхъ началъ и нравственными категоріями началъ религіозныхъ. Этотъ рисунокъ внутреннихъ, полныхъ особаго вида драматизма коллизій давалъ наглядное представленіе тѣхъ душевныхъ страданій, безъ которыхъ не обойдется ни одно человѣческое дѣйствіе, совершенное внѣ контроля нашей совѣсти—этого чистѣйшаго представителя религіозной нравственности. Въ этой психологической схемѣ изображалось досконально, какъ современный, умственно

развитой человѣкъ, руководимый матеріалистическими тенденціями, подѣ исключительнымъ надзоромъ сухой разсудочности, фатально движется по наклонной плоскости преступленій, скорѣе всего присущихъ цивилизованной бѣдности. Бѣдность же нецивилизованная, по согрѣваемая чувствомъ, вытекающимъ изъ религіозныхъ основъ нравственности, ихъ ужаснется неизбѣжно. А если-бы даже она, подѣ влияніемъ жажды грубыхъ вождельній, случайно и впала-бы въ неодолимый соблазнъ грѣха, то все-таки потомъ въ страданіи плоти будетъ настойчиво искать примиренія со своею совѣстью. Только, вѣдь, страдаіемъ, по народнымъ воззрѣніямъ—этимъ единственнымъ искупительнымъ актомъ человѣчества, восстанавливается наше душевное-то равновѣсіе!

На физическія страданія, какъ-бы умерщвляющія плоть, на мрачную неволю, сковывающую желанія и, вообще, на всѣ лишенія простой (а стало быть и необезображенный отрицательными сторонами цивилизаціи) человѣкъ всегда смотрѣлъ какъ на искупительную жертву, которой неотступно проситъ мечущаяся, надорванная грѣхомъ душа. Суровый неподкупный обличатель—совѣсть (припомните Николку) ежеминутно тревожитъ наше сознаніе, не давая покоя чувствующему организму, хотя бы даже и всецѣло поглощенному удовлетвореніемъ самыхъ пріятнѣйшихъ плотскихъ оцущеній. Чѣмъ сильнѣе послѣднія, чѣмъ шире, полнѣе стремленіе къ ихъ удовлетворенію, тѣмъ упорнѣе обличитель,—тѣмъ настойчивѣе бьетъ въ набатъ религіозно-нравственное начало, заявляющее о необходимости искупленія. Прямымъ психическимъ послѣдствіемъ этого морализующаго личность протеста является та высшая

степень угнетенія духа, отличительные признаки которой народный эмпиризм охарактеризовалъ словами: „ноеть душа.“ — „Не по себѣ“ „грызеть злоба“, „щемить сердце“, „мятежить духъ“ и „ноеть душа“ это—цѣлая градація психическаго состоянія челоѣка. И подъ каждую отдѣльную часть ея проявленія, выраженную этими словами, простонародный, некнижный языкъ подводитъ извѣстную степень угнетенія духа, указующую его напряженность, вслѣдствіе неудовлетворенности желаній въ физиологическомъ-ли, или психологическомъ отношеніяхъ. Обѣ эти области рѣзко разграничиваются у народа точно также тѣмъ, что въ физиологическое неудовлетвореніе вводится понятіе о плотскихъ желаніяхъ, въ психологическое—о желаніяхъ духовныхъ. Но удовлетвореніе первыхъ регулируется ощущеніями, чувствами, подчиняемыми контролю разума; удовлетвореніе же послѣднихъ регулируется совѣстью, подчиняемой контролю религіозно-правственнаго начала. То и другое, т. е. какъ разумъ, такъ равно и совѣсть, выходятъ изъ идеи безконечности, и, повидимому, стремятся слиться, но слиться—только въ отвлеченіяхъ мысли, а не въ конкретныхъ проявленіяхъ воли. Оба они парятъ высоко, но въ диаметрально противоположныхъ направленіяхъ и состояніяхъ духа: одинъ—гордъ, надмененъ, твѣрдъ; другая жъ—мягка, покѣрна, самоуниженна. Одинъ—представитель эгоистическихъ побужденій, другая—альтруизма. Ихъ упорная борьба, обнимая собою весь циклъ индивидуальной жизни, и составляетъ назначеніе и смыслъ послѣдней, прекрасно выражаемый народомъ словами: „жить побожески, —для души“. Въ эту простую и ясную формулу вылилась вся народная философія, совѣтъ пезнающая ни научныхъ экивокъ

ни отвлеченныхъ тонкостей позитивнаго мышленія, которое систематизаціей и исканіемъ причинной связи, въ духѣ матеріализма, нещадно извращаетъ общечеловѣческіе идеалы и въ то же время, подъ сурдинку учености, такъ ехидно дискредитируетъ религіозное понятіе о свободѣ нашей воли, стараясь научными обобщеніями привести къ одному знаменателю самыя несогласимыя сущности: и эгоистическія—низменные вожделѣнія культурности, и альтруистическія—возвышенныя начала нравственности.

Самое существенное свойство, отличающее интеллигенцію отъ народной массы, самая характерная черта ихъ различія состоитъ въ томъ, что въ религіозной области міросозерцанія интеллигенціи Божеству, благодаря научности ея взглядовъ, отводится малозначительная и скорѣй механическая роль: въ видѣ элемента порядка, генетической связи всѣхъ явленій міра, философской преемственности ихъ развитія— и только. Тогда какъ въ міросозерцаніи народа Божество является въ качествѣ не постижимой умомъ животворящей силы, проникающей все—не исключительно умственное;—вѣтъ это еще не особенно важная суть дѣла, а преимущественно—все нравственное существо человѣка, его душу,—этотъ храмъ религіозной совѣсти, и святую обитель ангела хранителя, радующагося всякому смиренію, самоуниженію и горько сокрушающагося служеніемъ человѣка культурному Мамонѣ. Отсюда-то собственно и вытекаетъ это странное ставящее втупикъ интеллигенцію дѣленіе народомъ человѣческаго духа на двѣ рѣзскія категоріи: нравственную и умственную. При чемъ ни когда не должно упускаться изъ виду еще и то, что это такія категоріи, которыя не пополняютъ,

какъ утверждаетъ это интеллигенція, одна другую, а напротивъ—находятся въ естественномъ антогонизмѣ въ отношеніяхъ, скорѣй взаимно исключаютъ, чѣмъ пополняютъ одна другую. По понятіямъ интеллигенціи, эти области или, правильнѣе, стороны чело-вѣческаго духа не только солидарны, а даже относятся одна къ другой, какъ причина къ слѣдствію и выражаются, въ большинствѣ случаевъ, яко бы непрерываемой формулой: умственно развитъ чело-вѣкъ, значитъ, и болѣе нравствененъ,—совершенствуется. По понятіямъ же народа, уменъ,—значитъ отдѣляется отъ области-то нравственной и сворачивая съ ея пути,—въ духовномъ смыслѣ неизбежно регрессируется.

На этотъ идеальный путь великорусскихъ воззрѣній съ неугасаемымъ свѣточемъ православія, вступилъ Достоевскій апостоломъ искренней, братской любви и литературнымъ первоучителемъ самоуничиженія. И не той опирающейся на ненависть—соціалистической любви, которая сама признается, что кипитъ гуманизирующей желчью и цивилизующимъ гнѣвомъ, но любви—всепрощающей и смиренной, которая цѣлительнымъ бальзамомъ изливается на мятежный духъ умственной гордости, какъ елеемъ помазуетъ страждующее сердце и матерински-нѣжно успокаиваетъ ноющую душу грѣшника. Эта-то „елейность“, служащая нынѣ въ глазахъ культурнаго чело-вѣка несомнѣннымъ признакомъ умственной дряблости, и была для Раскольникова тѣмъ идеальнымъ стимуломъ, который, въ припадкѣ его душевнаго томленія, рефлексивно повергъ его къ ногамъ самоуничижающейся Сони, и исторгъ изъ его надменныхъ устъ этотъ потрясающій васъ крикъ восторга: „Я не тебѣ поклоняюсь, а всему чело-вѣческому страданію

поклоняюся!“ Это высоконравственное положеніе, одушевленное мимолетнымъ мотивомъ религіозности бывшаго отъявленнаго раціоналиста, хотя и неоднократно трепалось нашей журналистикой, но никто не условлялъ въ немъ—конечно, не безъ намѣренія—того основнаго тона религіозной вепышки, который потомъ звучалъ, росъ, падалъ и снова подымался во всѣхъ сердечныхъ переливахъ душевной борьбы героя. Его стремленіе къ искупительнымъ страданіямъ и нравственному самобичеванію; его смѣлый порывъ къ заушенію ложнаго стыда культурнаго человѣка, вполне наглядно выразившійся въ самомъ экстазѣ его самоуничижешнаго цѣлованія ногъ простодушной блудницы,—всѣ это принималось за демократическія симпатіи къ обездоленному люду. Рѣшимость Раскольникова покончить съ душевной пыткой, всюду ему сопутствующей, и терніями каторги заглушить мученія совѣсти,—считались тогда не идеальнымъ просвѣтомъ, не моментомъ религіознаго просвѣтленія, героя не его смертельнымъ приговоромъ блазнящему интеллигентное-то око матеріализму, а художественной, видетели, вольностью, охотно, молъ, терпимой въ широко задуманной психологической картинѣ. Такъ цѣлостно заканчивающійся процессъ внутренней борьбы требовалъ, дескать, и фантастическаго финала, дабы геройской рѣшимостью произвести художественный эффектъ „моральнаго привѣска“, который необходимо надо было адресовать „неблагоднадежному“ читателю. Но и за всѣмъ тѣмъ, послѣдній, съ точки зрѣнія царящаго позитивизма, знаетъ-де настоящую-то цѣну каждой прописной морали.

То были другія, младенчески - философствовавшія времена и пѣлись иныя, младенчески-ученыя пѣсни.—

Въ то время и самъ Достоевскій, увлекаемый всеобщимъ потокомъ фанатической вѣры въ прогрессъ, не могъ, хоть по временамъ, не сотворять себѣ изъ него кумира, который онъ, идя на сдѣлку съ Западомъ, открыто ставилъ тогда, какъ священное украшеніе храма религіозной нравственности, но котораго потомъ, къ концу своей жизни, онъ не только не разбилъ, подобно Л. Толстому, вдребезги, а даже неосмѣливался задернуть его хоть-бы легкой пеленой сомнѣнія. Придавая религіозной нравственности преобладающее значеніе онъ все-жъ-таки не рѣшался не протягивать руки за помощью и къ другимъ благодѣтелямъ—къ культурѣ, и цивилизаціи: они, вѣдь, считались тогда, если не благочестивыми, то весьма богатыми радѣтелями нравственности; ихъ моль, доброхотныя дѣянія, точно также, какъ и скудныя лепты могли идти на украшеніе упомянутаго храма. Но то было маленькое заблужденіе, доставшееся знаменитому психологу - романисту по наслѣдству отъ сороковыхъ годовъ. Въ свое время, цѣною каторги, онъ уплатилъ: и пошлины, слѣдовавшія съ него за унаслѣдованіе „умственныхъ богатствъ Европы“ и душевныя издержки, причитавшіяся космополитизму Запада, всегда весьма охотно утверждавшему комунальныя права человѣчества на его матеріальное „равенство и братство“. А ужъ затѣмъ, когда суровая дѣйствительность столкнула его съ народомъ лицомъ-къ лицу, онъ вынесъ тогда непоколебимое убѣжденіе, что народъ не признаетъ иной, достойной благородной дѣятельности сферы, какъ только одну лишь самую возвышенную область,—область религіозно-нравственныхъ воззрѣній. Кромѣ того, и его личныя симпатіи, и индивидуальныя склонности были на сторонѣ

чистой идейности и смиряющагося уклада нашихъ чувствъ, — чуть не подвижничества. Живоиспеченныя европейскія доктрины, отличавшіяся изумительно смѣлымъ подшиваніемъ подъ эфемерную „свободу личности“ подкладки ея матеріальнаго равенства и братства, сначала было восхитили его. Съ восторгомъ прозелита отдался онъ новому ученію, готовый даже „пострадать“. Но потомъ въ „мертвомъ домѣ“, въ самомъ центрѣ этихъ страданій онъ постигъ въ совершенствѣ настоящую, православную-то идею страданія, сохранившуюся неприкосновенной даже и въ этой клоакѣ безнравственности. И эта идея—властно умаляла гордыню нашего разума и поэтически открывала духовнымъ братствомъ лишь безкорыстнѣйшую христіанскую любовь, рьянымъ представителемъ которой и былъ Достоевскій. Этотъ бывшій страстотерпецъ европейскаго прогресса уже по однимъ религіознымъ качествамъ своимъ не могъ быть впоследствии солидарнымъ съ материалистическими принципами Запада. Его мучительно коробила эта чисто головная-то любовь его къ человѣчеству: она такъ нагло и жестоко третировала всѣ платоническія чувства и религіозныя движенія нашей души! Она, съ научной помпой нахальнаго самодовольства проповѣдывала при этомъ, что „елейное всепрощеніе“, купно съ похвальнымъ стремленіемъ къ „загробному благодушеству“ и есть, молъ, тотъ самый фокусъ-покусъ, который совокупными усилиями либеральныхъ учреждений и научныхъ датъ „свободомыслящихъ“ давно-де ужъ принужденъ былъ закрыть свою лавочку на Западѣ. Между тѣмъ всепрощеніе, какъ слѣдствіе покаяннаго смиренія, было основнымъ руководящимъ принципомъ Достоевскаго— по отношенію къ другимъ, а самоуниженіе духа и

ограниченіе плоти и даже, въ случаѣ грѣха, искупленіе его матеріальными лишеніями—по отношенію къ самому себѣ.

Надъ этими двумя заповѣдями его соціального катехизиса изощряла свое остроуміе вся тогдашняя передовая публицистика. Этому „литературному Торквемадѣ“, для усуглубленія духовнаго наслажденія читателя, чуть-ли не рекомендовалось даже и самое-то помѣщиваніе тѣхъ святыхъ угольковъ, надъ пламенемъ которыхъ, въ мучительныхъ корчахъ, должна была спасительно расплачиваться за свои прегрѣшенія каждая заблудшаяся овца матеріализма. Но критическое гаерство и полемизирующее подтруниванье не измѣняли ни на волосъ того глубокаго общаго впечатлѣнія, которое выносилось читателемъ изъ должнаго уразумѣнія живыхъ, нормальныхъ отношеній автора къ созданнымъ имъ образамъ. Психологическій эффектъ, ими производимый охватывался всецѣло этимъ свѣжимъ-то воздухомъ религіозно-правственнаго міросозерцанія, незримо, но глубоко проникавшимъ всѣ поры даже и черстваго сердца „интеллигентнаго“ читателя. Полемизирующая же сторона тогдашняго всесокрушающаго радикализма, хоть бы даже и совѣмъ наплывомъ ея научныхъ данныхъ, соціальныхъ докторинъ и либеральныхъ тенденцій, все таки оставалась тутъ, какъ говорится, при пиковомъ интересѣ, И во всякомъ случаѣ, она являлась предъ читателемъ—вліяніемъ второстепеннымъ, да къ тому жъ еще и бо-лѣзненно-раздвояющимъ его внутренній міръ. Такъ, или иначе, а читатель не могъ не видѣть безысходнаго противорѣчія западничествующей-то братіи, Одно изъ двухъ: или—вождемъ-чувственное боготвореніе прогресса, и тогда: „свободная личность“—въ культурныхъ

формахъ лишъ священнодѣйствуй предъ разумомъ, а за это—по меньше работай, сладко ѣшь и всесторонне развивайся; или же—идейное созерцаніе Безконечнаго, и тогда: безкорыстно служи релігіозной нравственности, да энергично трудись, а для того—скудно трапезуй и всесторонне ограничивай свои культурныя-то вожделѣнья.

Осуществленіе „великихъ принциповъ“ восемьдесятъ девятого года—этой красоты всѣхъ увлекающихся мишурой свободы *blagueur*’овъ, состоятъ „тамъ“, въ благо-словенной-то Европѣ, исключительно лишь въ недостижимомъ равенствѣ распредѣленія житейскаго комфорта; осуществленіе же золотыхъ идеаловъ нашего народа заключается, главнѣй всего, въ возможно-аскетическомъ несеніи нравственнаго креста. И въ виду этого безропотнаго несенія вородомъ креста и его святыхъ идеаловъ подвижничества, Достоевскій, въ своихъ послѣдующихъ художественныхъ произвеніяхъ, смѣло и сурово, какъ библейскій пророкъ, бросалъ въ глаза интеллигенціи свои обличительные укоры. А на Пушкинскомъ торжествѣ своимъ искреннимъ призывомъ: „Смирись гордый человѣкъ, потрудись праздный!“ замкнулъ многія либеральныя уста полныхъ современнаго нечестія агарячь. При его дарѣ проникновенія, онъ не могъ не прозрѣвать, что, для нравственнаго совершенствованія личности, прежде всего надо будетъ вынырнуть изъ омута жизнерадостной лжи и нашихъ искусственныхъ наслажденій; встрепенуться, отыскать и укрѣпить въ себѣ нравственную силу. Приобрѣсти же эти желанныя побужденія, какъ онъ и зналъ это по собственному же опыту, смогъ-бы человѣкъ, находящійся не подъ влияніемъ наплыва культурныхъ вожделѣній, о подѣ напоромъ однихъ лишь искупляющихъ несчастій и страданій.

Таково именно направлѣніе выдающихся произведеній Достоевскаго, удачно сочетавшееся съ замѣчательными особенностями его музы. Характерное искусство его производить впечатлѣніе глубоко удрученной личности, вызванной къ широкой созерцательности и почти совершенно лишенной матеріалистической (но не идеальной) жизнерадостности,—того самаго драгоцѣннѣйшаго, по мнѣнію матеріалистовъ, человѣческаго достоянія, которое съ не бывалымъ искусствомъ похищаетъ Достоевскій у своего читателя, и, вмѣсто него, такъ художественно подставляетъ внутреннее удовлетвореніе очищеннымъ совѣстью самопознаніемъ нашимъ. Проникнувъ во внутренній міръ главныхъ персонажей его романовъ и переживъ, вмѣстѣ съ ними, ихъ душевныя движенія, читатель чувствуетъ, что музыка Достоевскаго не можетъ служить современному-то, сильно раздвигающему сферу нашихъ наслажденій оптимизму: ибо высшее, такъ сказать провиденціальное назначеніе человѣка—безропотно прочувствовать всю горечь выпавшаго на его долю земнаго бытія.

Его аскетическія идеалы дѣйствовали цѣлѣбно, какъ ушатомъ холодной воды обливая развинченныя комфортомъ нервы современниковъ, а кротко-страдающіе художественные образы, какъ „свѣтъ изчадьямъ тьмы“, рѣзали глаза наглому самодовольству публицистическихъ краснобаевъ. То и другое дѣлало свое дѣло—понемногу омрачало это ликованіе-то прогресса и снова воскрешало въ обществѣ божественную искру нашихъ традицій. Много помогло этому и авторская искренность, шедшая рядомъ съ откровеннымъ признаніемъ имъ ошибочности той прежней его „последовательности“ служенія народнымъ интересамъ, за которую онъ жестоко попла-

тился и съ которой, однако-жь, онъ не носился, какъ съ писаной торбой, а смотрѣлъ на эту, нынѣ платонически облюбовываемую послѣдовательность какъ на дань, уплаченную увлеченію молодости монетной не мудрящаго чекана. И поэтому, въ произведеніяхъ его художественнаго творчества изъ—за романиста выглядывалъ нерѣдко и иублицистъ, который, сознаваясь въ беспочвенности своихъ юношескихъ порывовъ, ни чуть не смущался симъ политическимъ ренегатствомъ, казнимымъ, по тогдашнему публицистическому кодексу, литературной смертью.

Горькій опытъ и полная физическихъ и духовныхъ страданій жизнь Достоевскаго привела его къ убѣжденію, что жизнь—не „пустая и глупая шутка“, не забава и даже—не наслажденіе, какъ это настойчиво проповѣдуетъ матеріалистическое міровозрѣнне; жизнь—тяжкій трудъ, тотъ именно крестъ, нести который заповѣдалъ намъ Спаситель. Отреченіе,—отреченіе неизмѣнное. постоянное—вотъ ея таинственное такъ сказать, мистическое назначеніе и смыслъ. Не стремленіе къ счастью, къ наслажденію матеріальными, чувственными благами; не исполненіе любимыхъ мечтаній и мыслей, какъ-бы они велики, научны и даже философски-глубоки не были, а исполненіе долга—вотъ что должно составлять главную заботу человѣчества. Не наложивъ на себя нравственныхъ веригъ и не сковавъ себя желѣзными цѣпями жизненнаго долга, каждая человѣческая особь не можетъ дойти до конца своего поприща безъ нравственнаго паденія.

Такова была главная мысль, проведенная въ „Преступленіи и Наказаніи“. Стоявшая особнякомъ въ тогдашней белетристикѣ, она послужила начальнымъ толч-

комъ къ сознанію доминирующаго положенія нравственности и первую ступенью къ возрожденію оцѣпенѣвшаго въ матеріалистическихъ стремленіяхъ общества. Этотъ романъ, какъ и многіе изъ послѣдующихъ его романовъ, удовлетворяя потребностямъ сердца и души, не только не давалъ, къ огорченію прогрессистовъ, отвѣтовъ на умственные, или соціально-политическія запросы культурной жизни, но еще и отводилъ въ сторону даже и самую-то необходимость ихъ возникновенія, разъ религиозно-нравственные идеалы такъ систематически ступшеваются нашей современной, далеко непригожей дѣйствительностью. Оскорбляемый ею въ своихъ религиозныхъ, нравственныхъ и патріотическихъ чувствахъ, Достоевскій почти во всѣхъ своихъ романахъ („Бѣсы“ и др.) мучительно изливалъ предъ читателемъ свою душу и грустно скорбѣлъ за губящихъ родину матеріалистовъ.

Необходимо замѣтить, что Достоевскій не былъ профессиональнымъ романистомъ въ общепринятомъ и спеціальномъ смыслѣ этого слова. Онъ не былъ и присяжнымъ романистомъ-лирикомъ, воспѣвающимъ опозтизированными, въ тогдашнемъ вкусѣ узкой тенденціозности, образами возлюбленныя еще и по нынѣ политическія, соціальныя и всякія иныя научно-философскія идеи. Прежде всего, былъ онъ плодотворнымъ выразителемъ нашихъ душевныхъ движеній—эмоцій, по народной психологій, такъ сильно жаждущихъ реального проявленія челоѣчествомъ религиозно-нравственныхъ началъ и духовнаго торжества идеи высшей справедливости. На путь своеобразнаго, оригинальнаго романиста, подобно Толстому, вносившему въ свои романы метафизическій элементъ, его влекли сердечныя движенія и неумолимая

потребность, опуститься въ глубины души—въ тотъ идеализируемый міръ внутренняго совершенствованія личности, гдѣ должны литься „незримыя“ духовныя слезы о погибающей нравственности. И, съ этими благодатными слезами, въ немъ сказывалось неодолимое побужденіе—изливать и идеальныя чувства его возвышеннаго лиризма, сиротливо болѣя душой за поруганныя жизнью духовныя идеалы и покорно страдая въ ожиданіи нравственнаго исцѣленія личности. Это—высшее напряженіе идеальной и религіозно-нравственной души, чающей воплощенія въ нашей жизни высочайшихъ искупительныхъ тенденцій христіанства. Оно проходитъ красной нитью чрезъ всѣ психическія перипетіи многихъ дѣйствующихъ лицъ его выдающихся романовъ.

Ощутительнѣе же всего проявлялось это въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Тамъ основной тонъ его своеобразно-скорбной музыки вызывалъ въ представленіи читателя самыя свѣтлыя перспективы, умиротворяющей религіознымъ чувствомъ совѣсти. А защита религіозно-нравственныхъ началъ и одухотворенныхъ тенденцій нашего православія достигала здѣсь, въ отдѣльныхъ эпизодахъ, апогея психологической художественности, иностранной литературѣ пока еще не доступнаго. При тихой грусти и глубокой задумчивости скорби, простое, почти эпическое теченіе главной мысли автора, прозрѣвающей высшія основы народной психологіи и нравственности, было полно религіознаго благоговѣнія и какой то особенной, можно сказать взывающей преимущественно къ вашему лишь сердцу убѣжденности.

Широта образной мысли, убѣжденная послѣдовательность сужденія и неуклонная рѣшимость дѣйствій, хотя и не въ гладкой романической фабулѣ, и даже въ ущербъ

техникъ романа выражаемая и, наконецъ, эта неприли-
занная откровенность его субъективизма и нараспашку
открытыхъ сочувствій, шедшихъ вразрѣзъ всесильнымъ
моднымъ вѣяніямъ—были основными чертами духовной
фізіономіи Достоевскаго. Не обезцвѣчиваться во мглѣ
научнаго тумана, не терять нравственной чистоты пра-
вославно-русской мысли; лелѣять возвышенность воз-
зрѣній ея неподкупнаго идеализма, оберегать присут-
ствіе религиозныхъ началъ въ убѣжденіяхъ нашей де-
ревни, отстаивать неприкосновенность народнаго міро-
воззрѣнія, доселѣ еще чуждаго этой научной-то и куль-
турной рефлексіи—вотъ его идеалы и преслѣдовавшаяся
имъ цѣль. И въ романахъ онъ шелъ своей широкой и
вѣрной дорогой, не сворачивая въ закоулки интелли-
гентности для кажденія разуму и авторитету Запада.
То былъ прямой путь психолога-художника, кратчайшее
разстояніе между потребностями души и метафизиче-
скими запросами ума. И при этомъ—замѣчательнѣйшая
постановка нравственныхъ типовъ, которые влекутъ чи-
тателя въ сторону отъ компромиссовъ совѣсти и заста-
вляютъ его чураться бездушныхъ основъ матеріализма
и отрицательныхъ сторонъ культуры.

Другое дѣло или, по крайней мѣрѣ, другой тонъ
слышится въ его публистическихъ произведеніяхъ (осо-
бенно въ начальныхъ),—тонъ нѣсколько заигрывающій
съ величіемъ-то науки и нравственной правоспособностью
культуры и прогресса. Къ основному мотиву, къ защитѣ
націоналистическихъ принциповъ и родныхъ устоевъ
общественности примѣшиваются уже фальшивыя нотки
космополитическихъ узъ, дальняго родства съ западни-
ческими теоріями и, съ любезной миной, дѣлается даже
легонькій кивокъ европейскому прогрессу. Расшарки-

ваться предъ нимъ, съ ловкостью французскаго коми, онъ видимо не желалъ, но, по усвоенной привычкѣ, охотно исполнялъ долгъ вѣжливости англійскаго джентельмена, чтущаго, съ похвальнымъ достоинствомъ благороднаго человѣка, либеральныя тенденціи Европы — этой „страны святыхъ чудесъ“, населеніе которой совершило „все великое и прекрасное“. *) И тѣмъ не менѣе, тогдашнее всеобщее утвержденіе того, что Россія, молъ, послѣ ряда реформъ, уже вступила въ фазисъ общеевропейскаго прогресса, было все-таки не по сердцу Достоевскому. — Возвратясь домой изъ этого, такъ сказать, мысленнаго паломничества ко святымъ-то мѣстамъ Европы, прежній раболѣпный мечтатель уже никакъ не могъ ужиться въ Достоевскомъ съ нынѣшнимъ очевидцемъ крутой расправы космополитизма съ русскими традиціями и нашей народной нравственностью. Но протестовать смѣло и рѣшительно противъ этой, будто бы необходимой и благодѣтельной „культурной фазы“, онъ не могъ, въ силу, какъ мы уже и сказали, своего не очень-то и дальняго родства съ идеями Запада, да пожалуй, еще изъ практическихъ, весьма извинительныхъ соображеній — не оттолкнуть отъ себя той аудиторіи, которая, на пушкинскомъ торжествѣ создавалась совершенно неожиданно и объединительныя поползновенія которой такъ много говорили его патриотическому чувству и такъ увлекающе импонировали нашей общей національной гордости. За эту необходимую уступку господствовавшему вѣянію, онъ, вѣроятно, хотѣлъ вознаградить себя потомъ предполагая вводить постепенно свою разъобщенную аудиторію въ область

*) Стр. 233. Т. 11 соч. Достоевскаго.

звонихъ завѣтныхъ идей и симпатій. Вотъ для этой-то цѣли и было имъ задумано отдѣльное и единоличное періодическое изданіе—«Дневникъ Писателя».

II.

Въ этой области своей литературной дѣятельности—въ публицистикѣ Достоевскій уже не являлся передъ читателемъ прежней, вполне цѣлостной натурой. Далеко нѣтъ. Даже и не совсѣмъ тонкое литературное обоняніе сумѣетъ отличить тутъ какую то своеобразную, специфическую струю летучихъ, либеральныхъ приностей. Особенно это чувствовалось тамъ, гдѣ онъ, слѣпо ратуя за подъемъ обще-славянскаго духа, выбиралъ изъ него красивенькіе цвѣточки объединительныхъ тенденцій. Отъ состряпаннаго имъ въ политическихъ-то попыхахъ, да еще и на скорую руку федеративныхъ привѣтствій пацслависткаго букета несло приторнымъ запахомъ публистическаго ухаживанья за либерализмомъ и замѣтно нарушало впечатлѣніе той цѣлостности, которая такъ ощутительно выдвигалась въ его художественныхъ произведеніяхъ. Какъ тамъ было все прочно сшито и плотно пригнано къ желанному господству основъ народной психологіи и этики, такъ на оборотъ, здѣсь пристегивалось къ ней, подчасъ на живую нитку, многое изъ того, что, быть можетъ, и составляло нѣкій «вкладъ» въ сокровищницу нашей прогрессивной литературы, но что не могло не имѣть отрицательнаго значенія для полноты и опредѣленности убѣжденій самого Достоевскаго. Его славянсфильствовавшая „Исповѣдь“ не ступшеывала упомянутаго запаха нисколько. Она служила, скорѣй всего, неудавшейся прелюдіей къ мус-

сированію тогдашнихъ донкихотскихъ заботъ о насажде-
ніяхъ у насъ автономнаго панславизма. А его благоже-
тельное-то пророчество о сказаніи Россіей европейскому
человѣчеству «новаго, здороваго и неслыханнаго еще
міромъ слова», мало соблазняло тогда даже и самихъ
Колхасовъ отечественнаго социализма. Они, вѣдь, тоже
не меньше своего прототипа, пренебрегали цвѣтами-то
идеальной нравственности и точно также,—а пожалуй-
еще и почище того.—предпочитали имъ, цвѣточкамъ
симъ, тѣ съѣдобные продукты, которые, по указу небо-
жителей, долженствовали-бъ быть приносимыми въ жертву
ихъ новому Юпитеру—прогрессу. И пока этотъ божокъ,
подобно своему праотцу, совершалъ у насъ свои цивили-
заторскія прелюбодѣянія „во мракѣ облаковъ“, услуж-
ливо папущенныхъ жрецами либерализма,—сей послѣдній
успѣлъ ужъ значительно помрачить и самый свѣтъ на-
учнаго просвѣщенія, вообще, и свѣтъ нашего пансла-
висткаго оптимизма, въ частности. А въ этихъ тогдашнихъ
національныхъ сумеркахъ нашихъ, пришкодливо-подлинъ-
комъ заигрываніи съ величіемъ-то науки, пресловутый
прогрессъ этотъ помаленьку, но систематически силился
подкопаться подъ историческія столпы нашихъ tradi-
ціонныхъ устоевъ, къ немалому огорченію либерализма,
плотно соединившихся съ православнымъ самодержа-
віемъ, съ завѣщаннымъ намъ исторіей патриотизмомъ и
съ религіозной нравственностью великаго русскаго народа.

Кромѣ Достоевскаго, тогда никто не предусматри-
валъ всей колоссальной прочности этой связи, и по-
мимо его, никто такъ полно не понималъ ея историче-
скаго генезиса и благопріятствовавшихъ ей національ-
ныхъ условій, чтобъ имѣть право опредѣленно выска-
зать слѣдующія несомнѣвныя положенія. Изъ всѣхъ

христіанскихъ исповѣданій одно лишь русское православіе неуклонно ведетъ народъ къ сознанію необходимости, для блага же государства, идеи самодержавія, — этого краеугольнаго камня политическихъ воззрѣній „московита“, какъ настоящаго и кореннаго собирателя земли русской; въ группѣ европейскихъ расъ, одна только великорусская народность исторически выработала свой родной и замѣчательный патріотизмъ, — патріотизмъ, всегда импонировавшій самодержавію родовымъ общественнымъ укладомъ и самъ поощрявшійся къ покорности законной власти православно-христіанскимъ смиреніемъ; въ разнообразной области нравовъ и этнографическихъ особенностей славянъ, одинъ великорусъ сохранилъ общинныя черты и свой бытовой строй въ нерушимой связи съ религіозной нравственностью и упомянутыми особенностями своего національнаго духа. Полнѣе Достоевскаго, повторяемъ, никто не понималъ этого, но публицистическая предосторожность, по тогдашнему времени не совсѣмъ-таки и лишняя, и, наконецъ, боязнь раздражить либеральныхъ гусей, разлюбезно сочувствовавшихъ за это и федеративному характеру панславистской затѣи, заставляли Достоевскаго воздерживаться отъ слишкомъ ужъ категорическаго-то выраженія этихъ положеній. Между тѣмъ, онъ, какъ патріотъ и глубокій сердцевѣдь русскаго народа, прекрасно понималъ, что эти національныя черты наши — не фикція, не „мистическое цѣлое“, а нѣчто вполне реальное, чувствуемое, въ видѣ очевидныхъ симпатій народа нами же самими воспринимаемое, дающее себя знать на каждомъ шагу, во всѣхъ проявленіяхъ духовной жизни націи и, наконецъ, отчетливо выражающееся въ томъ духовномъ цѣломъ, что обыкновенно называютъ

государственнымъ организмомъ. Совокупность всѣхъ его функций, по народнымъ воззрѣнiямъ, должна сосредоточиваться обязательно въ одномъ лишь лицѣ,—въ одномъ лишь всенаправляющемъ дѣятелѣ. И только въ этомъ строжайшемъ единствѣ власти усматривается русскимъ народомъ болѣе-то полное выраженiе жизни государственнаго организма. Разъ единство власти эксцентрируется, то неминуемо нарушается и гармонiя общественныхъ отношенiй, исторически развившихся на почвѣ національныхъ особенностей страны; постановка основъ власти дѣлается тогда уже—неустойчивой, колеблющейся въ ту или другую сторону, смотря по тому, въ какую сторону направляется господствующее теченiе идей, стремящихся сгладить расовые особенности и основачала народной психологiи.

Таковъ именно характеръ коренныхъ свойствъ политическаго кругозора великорусса,—его уголъ и точка зрѣнiя, съ которой онъ смотритъ на должныя основы государственнаго строя. Это—звѣздный паюсъ строгой государственности нашего народа, отражающiй воспринятыя имъ съ Востока принципы гражданственности; это—основныя патрiотическiя начала истиннорусскаго внутренняго мiра,—его расовый духъ и политическiй смыслъ, вкладываемый имъ въ должныя отношенiя гражданъ къ своей власти и уполномочивающiй послѣднюю на ее прямое историческое назначенiе—этимъ племенными особенностями нации связывать страну со всѣми ея окраинами въ одно самостоятельное и политически-недѣлимое цѣлое. И какъ не обезличивай себя интеллигенцiя, какъ не подплясывай она подъ дудку космополитизма, а все-таки совсѣмъ оторваться отъ родной почвы никакъ нельзя,—„неприходится“, какъ

выразился бы на этотъ счетъ нашъ народъ: нельзя жить безъ цѣльнаго міросозерцанія. „не приходится“ жить безъ вѣры въ свою націю, безъ національныхъ надеждъ и огорченій, безъ общаго уваженія традицій, — безъ тѣхъ святынь, которыя связываютъ націю въ единый духовный организмъ. Живя же одною жизнью со своимъ народомъ, радуясь его радостями, страдая его страданьями, уважая его нравственные, психологические и бытовые устои и гордясь его самостоятельностью, этимъ вѣрующимъ въ себя духовно-национальнымъ торжествомъ его—трудно, и даже очень трудно освободиться отъ патріотическихъ чувствъ.

Хотя, къ несчастью нельзя не признать и того, что патріотизмъ страны, чрезмѣрно тяготѣющей къ общекультурному строю, находясь подъ нивелирующимъ вліяніемъ цивилизаціи, какъ это свидѣтельствуется исторія человѣческаго рзвитія, постепенно мельчаетъ, уступая свое мѣсто растлѣвающему воздѣйствію космополитическихъ тенденцій. А это, при излюбленномъ нынѣ быстромъ ходѣ прогресса, поведетъ уже прямо къ тому, что расовыя особенности будутъ понемножку и постепенно сглаживаться, стремясь въ то же время и къ своему полному уничтоженію: племенные узы и вообще вся духовная связь страны, имѣющая свои корни въ религіи, исторіи, національности и въ психическихъ особенностяхъ народа расшатается совсѣмъ; родные обычаи, привычки, бытовыя черты, связывающія народъ въ одну національную семью, всю силу своего былаго обаянія утратятъ совершенно—и государства, въ духовномъ смыслѣ, ужъ болѣе не существуетъ! Останутся одни экономическія и территоріальныя скрѣпы, весьма ничтожныя въ смыслѣ объединяющихъ

отношеній, которыя, при первомъ же удачномъ напорѣ чуждой расы, легко распадутся. И понятно, что тогда въ трусливо-равнодушныхъ душенкахъ такъ полно окультурившихся гражданъ, ужъ, конечно, не останется тѣхъ драгоцѣнныхъ стимуловъ, которые въ былое время будили чувство глубочайшей пріязни къ своему родному, кровному и которые, поднимая націю на геройскую защиту родной земли, являли въ то же время и желаннѣйшія образцы (напримѣръ, — Севастопольская эпопея) патріотической доблести. На смѣну поросшаго быльемъ національнаго родства не приминетъ появиться потомъ и пресловутое космополитическое „братство“, — пожалуй, хоть и съ этими даже — широковѣщательными-то: „равенство и братство“. Но кто же не знаетъ, что это одна лишь изъ самыхъ просвѣщенѣйшихъ интернаціональныхъ фикцій, очень мало говорящихъ родному національному чувству. Истинному патріоту подобныя обольщенья не обѣщаютъ ровно ничего, кромѣ горькаго сознанія о предстоящей утратѣ націей своей независимости и о печальной необходимости прилагиванья своихъ родныхъ возрѣній и всосанныхъ еще съ молокомъ матери обычаевъ и привычекъ къ нормамъ, вытекающимъ изъ понятій, совсѣмъ незнакомыхъ и обусловленныхъ совершенно чуждымъ націи укладомъ мысли.

Стало быть, всякое академически-неумѣлое и профессорски-благородное стремленіе „способствовать“ прохожденію своимъ отечествомъ „извѣстныхъ фазъ развитія“ и каждое научно-рекламирующее направленіе его къ тому, чтобы оно могло-де „по-праву“ занимать „опредѣленное“ мѣсто въ исторіи культуры, — должны быть, въ интересахъ же этого самаго якобы любезнаго-то

отечества, далеко не желанной цѣлью. И слѣдовательно; наоборотъ, желательнымъ и, съ раціональной точки зрѣнія, болѣе цѣлесообразнымъ можетъ являться только то, что способствуетъ сбереженію своихъ традицій, своихъ этнографическихъ чертъ расы, своей національности, своего быта, языка и религіи. Совокупность одного лишь этого можетъ служить, въ деонтологическомъ смыслѣ, живымъ-то источникомъ патріотизма. И послѣдній—будетъ ли онъ балаганно обозванъ „кваснымъ“ патріотизмомъ или же благополучно избѣжитъ сего наипросвѣщенѣйшаго зубокальства—во всякомъ случаѣ, онъ менѣе всего будетъ той пустой фразой, содержаніе которой ничѣмъ не пополняется даже и у нашей добросовѣстной-то части интеллигенціи. И, въ свою очередь, онъ скорѣй всего будетъ тѣмъ непогрѣшимымъ инстинктомъ, который всегда живетъ въ народной массѣ и успѣшно выдерживаетъ съ космополитическими идеями борьбу за свое существованіе,— борьбу, самую отчаянную, полную героизма и самопожертвованія. Охаянный прогрессомъ инстинктъ этотъ — упоренъ и живучъ въ нашемъ народѣ. Онъ-то, вѣдь, собственно, и руководитъ духомъ компактныхъ массъ на полѣ брани; онъ-то именно и помогаетъ отложенію въ сердцахъ народа чистѣйшихъ кристалловъ—религіозно-нравственныхъ началъ, мало или почти совсѣмъ не касающъ его умственной сферы. Въ своихъ симпатіяхъ народъ нашъ сознательно чуждъ и принципиально холоденъ ко всѣму, что находится только въ исключительныхъ предѣлахъ теоретическаго разума и научныхъ воззрѣній. Онъ понимаетъ болѣе душевныя движенія и вѣрять лишь ихъ одному добросовѣстному агенту — чувству, всегда безусловно провѣряющему

законность и правомѣрность нашихъ понятій, такъ-какъ контроль просвѣщеннаго-то разума невѣренъ: онъ—или прямой врагъ, или, много-много, если только нейтральный соглядатай патріотизма. Народъ—всегдашній эмпирикъ, и въ этомъ случаѣ, гдѣ дѣло касается не метафизическихъ воззрѣній онъ—поклонникъ методически-чистаго опыта. Вѣковой же опытъ, какъ практический результатъ преемственнаго наблюденія много-милліардной массы предковъ нашихъ, стоитъ непоколебимымъ фундаментомъ ея политическихъ воззрѣній, и наша тысячелѣтняя, дѣйствительная, а не писанная исторія говоритъ за ея правоту и ограждаетъ патріотизмъ націи отъ всякихъ космополитическихъ вѣяній и позаимствованныхъ реформъ, уже давнымъ-давно и весьма удачно обозванныхъ народомъ ненужными новшествами.—Грозное же положеніе прогрессистовъ, обыкновенно служащее самымъ дальнобойнымъ орудіемъ ихъ тяжелой артиллеріи и состоящее въ томъ, что ни одна-де нація не можетъ, „безнаказанно“ отставать въ своемъ культурномъ развитіи отъ другихъ народовъ—занимаетъ дѣйствительно выгодную позицію и палить безспорно szybko, но палить, очевидно, по воробьямъ и чаще всего—ради страха іудейска, порываясь больше къ тому, что-бъ сдерживать „ретроградныхъ бунтовщиковъ“ въ ихъ открытомъ неповиновеніи вѣнценосному прогрессу. Если же оно, это отчасти внушительное положеніе, еще и имѣетъ нѣкоторое политическое значеніе, то развѣ только въ одномъ отношеніи—въ дѣлѣ соответствующаго успѣху современныхъ знаній вооруженія страны, т. е. въ видахъ необходимой ея обороны, или же—въ интересахъ охраны ея территоріальной цѣлности и ея политической независимости. Но идти дальше

этого—не представляется особой надобности: ибо разно-стороннія и широкія примѣненія упомянутаго положенія, какъ мы только-что и имѣли случай указать, уже весьма значительно вредятъ единству и цѣлостности націи. Громкія же фразы подозрительныхъ сѣтованій на нашу-де обособленность и расовую „нетерпимость“ лишены, какъ и всякая буфонада, простаго практическаго смысла и самаго обыкновеннаго, эмпирическаго пред-видѣнія послѣдствій, настойчиво ускоряющихъ лишь политическое разложеніе государственнаго организма И послѣдній стоитъ уже на краю этой пропасти, разъ онъ не сознаетъ всей опасности космополитической заразы. Достойная же совмѣстность работы „европей-ской семьи“, похвальная общность ея культуры, обя-зательная-де солидарность участія страны въ общемъ ходѣ прогресса и прочія велерѣчія, нужныя больше для красоты „стиля“ и этикета европейской просвѣщен-ности,—точно также не выдерживаютъ самой поверх-ностной но, конечно, здравомыслящей критики. Напро-тивъ, историческія-то данныя и говорятъ какъ разъ противоположное.

Припомните вторую половину царствованія Алексан-дра I-го и блестящую мощь и величіе царствованія Николая I-го. Мы видимъ здѣсь уже изъ опыта, что наибольшая степень процвѣтанія государства, его сила, международное значеніе и даже финансовая то (кредит-ный рубль стоялъ выше металлическаго), самостоятель-ность всегда шли рядомъ съ пробужденіемъ племеннаго самосознанія и развитіемъ націоналистическихъ стрем-леній...

Однако, мы было уклонились въ сторону весьма ста-раго, но и вѣчно юнаго вопроса, — вопроса о необходи-

мости милитаризма. Но оставимъ это въ покоѣ, и подойдемте-ка поближе собственно къ занимающей насъ сути.

Вся громада такъ называемыхъ „противорѣчій жизни“ на которыя теперь обрушиваются и дешевенькія проклятія доморощенной декаденщины и драгоцѣнная скорбь людей, еще не потопившихъ своей совѣсти въ омутѣ, культуры, свидѣтельствуеть о полномъ отсутствіи въ области нравственныхъ понятій интеллигенціи общихъ руководящихъ началъ. Въ прямую противоположность пресловутой научности, нравственные понятія ея всегда представляли смутную массу скомканныхъ обрывковъ, неосвѣщенную точно опредѣленными принципами. Она сознательно игнорировала при этомъ употребленіе даже и того примитивнаго метода и не сложной классификаціи, которыя въ сферѣ личной и общественной нравственности такъ полно и закончено выработались нашимъ крестьянствомъ, руководствовавшимся родной психологіей и религіознымъ чувствомъ. Понятно, что тамъ не пайдется вылощенной систематизаціи и теорической разработки, иногда заводящей васъ въ „безпросвѣтную глушь рационализма, но зато путь нравственныхъ дѣйствій обозначенъ тамъ съ точностью, — и обозначенъ не тоненькими вѣхами „великихъ принциповъ“ цивилизаціи, могущими продержаться какія—нибудь десятки лѣтъ, а каменными глыбами—принципами религіозной нравственности. Предметомъ познаній, эмпирически приобрѣтенныхъ нашимъ народомъ, служить—лишь человѣкъ, вдохновляемый религіознымъ чувствомъ и только та личная и общественная дѣятельность его, которая руководствуется неизвращенной культурою совѣстью. Кладя эти начала въ основу нравственности, вѣковая народная мудрость

составила и свой собственный сводъ правилъ, необходимыхъ для личной и общественной жизни. И этотъ-то неписанный кодексъ, санкционируемый глубокою религіозностью народа, безусловно строго руководить его общественное мнѣніе и не признаетъ никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ, установленныхъ „просвѣщеннымъ“ умомъ въ защиту легкой жизни культурной личности. Съ пошлымъ современнымъ умомъ, съ его плутовскимъ пошибомъ и любостыжательнымъ характеромъ его направленія этотъ сводъ неписаннаго обычнаго права не имѣетъ ничего общаго. Всѣ сдѣлки этого ума съ совѣстью запрещены имъ подѣ страхомъ душевной казни. Тогда какъ подобныя сдѣлки совершаются у интеллигенціи-то совершенно безпрепятственно и, поступая на центральныя биржи ея духовнаго разврата цѣлыми сериями жизненныхъ противорѣчій, онѣ котируются тамъ весьма охотно,—и даже еще гораздо выше номинальной цѣны, устанавливаемой по обыкновенію рынкомъ безнравственности.

Что-бъ хоть нѣсколько упорядочить эти рыночно-культурныя отношенія, а главное, что бы сгладить сознание своей нравственной безпомощности, западная интеллигенція ужъ цѣлое столѣтіе вырабатываетъ какую-то нравственно-политическую теорію, безъ которой якобы немислимо удовлетворительное разрѣшеніе „жгучихъ“ социальныхъ вопросовъ. Еще съ легкой руки душевно свихнушагося О. Конта, „образованное“ человѣчество это мнитъ увидѣть свое нравственное спасеніе осуществившимся лишь въ установленіи какого-то института социально-научныхъ жрецовъ, да въ учрежденіи свободныхъ политико-экономическихъ формъ общественности, поддерживаемыхъ и развиваемыхъ, въ лицѣ представи-

телей позитивной науки, какимъ-то мифическимъ закономъ прогресса. Личное же совершенствованіе, и еще—сохрани господи— на религіозныхъ началахъ основанное, лукаво замалчивается и научно игнорируется. А если оно гдѣ-нибудь и было, то, оставленное цивилизаціей „не удѣлъ“ и лишенное религіозныхъ средствъ, оно шатается безъ „опредѣленныхъ занятій“, заявляя по временамъ о своемъ безцѣльномъ существованіи то сытымъ воплемъ, „міровой скорби“, то празднымъ чувствомъ культуртрегерской разочарованности. Но состоящее на дѣйствительной-то деревенской службѣ съ издавна, быть можетъ, еще современъ Ярослава мудраго, оно вполне сознательно и добросовѣстно исполняетъ свои обязанности, не вступая ни въ какія пререканія ни съ научно-философской властью, ни съ публистическимъ надзоромъ. И благодаря этому главенству личной нравственности и ея скромной деревенски-служебной дѣятельности, народъ нашъ, помимо всякихъ научно-просвѣщающихъ учрежденій, сжато и точно установилъ незыблемыя основы отношеній чело-вѣка: къ Богу, природѣ и обществу; категорически опредѣлилъ и судьбу чело-вѣка, и его свободную волю, и то всегда возможное для него счастье, которое состоитъ въ полномъ умиротвореніи духа, покоющемся, въ свою очередь, на широкомъ самопожертвованіи и посильномъ ограничиваніи личныхъ желаній.

Все это мы говоримъ какъ-бы отъ лица Достоевскаго-публициста. Таковъ, по крайней мѣрѣ, характеръ, духъ и направленіе всѣхъ его главныхъ и симпатичныхъ намъ положеній. То былъ, конечно ужъ, не „пестрый кангломератъ“ различныхъ-де обломковъ мыслей, механически связанныхъ консервативной тенденціей. Но и цѣльнымъ органически сросшимся обобщеніемъ политическихъ

общественныхъ и духовныхъ явленій русской (преимущественности народной) жизни назвать его нельзя. Въ немъ, въ видѣ особыхъ искусственныхъ прививковъ, бросались въ глаза тѣ оливковыя вѣтви, съ которыми Достоевскій шелъ навстрѣчу примиренія съ обще-культурнымъ строемъ жизни, прогрессомъ и либерализмомъ. И онъ, въ жару своей примиряющей любви и „все-человѣчности“, совсѣмъ ужъ забывалъ о томъ, какъ плохо уживается личное совершенствованіе съ современной-то цивилизаціей; какъ противуестественны были рекомендуемые имъ потуги вознесенья „опрошенности“ мужичка до прогрессирующей „осложненности“ интеллигента, и какъ наконецъ, самъ, этотъ „нуждающийся въ образованіи, но чистый сердцемъ“ народъ отнесется къ этимъ малонуждающимся, (благодаря этой же „осложненности“) либеральнымъ просвѣтителямъ.

Достоевскій могъ бы прямо и рѣшительно, со всею силою и безапелляціонностью своего проповѣдническаго тона сказать: Идеалы чистой, духовной красоты народъ заимствуетъ не у науки, а только лишь у религіозной нравственности; идею человѣческаго (духовнаго) братства и физическаго труда—не въ христіанствѣ, вообще и даже не въ томъ христіанствѣ, которое пытались притянуть къ себѣ грязныя лапы нѣмецкаго социализма, а въ Православіи; совокупность мнѣній и симпатій по поводу тѣхъ предметовъ и отношеній, о которыхъ другая нація судить иначе—то именно, что составляетъ свои особенности національнаго духа народа—въ одномъ лишь великорусскомъ патриотизмѣ. Положимъ, онъ это говорилъ, но говорилъ какъ-то колеблясь, туманно, (за исключеніемъ характеристики православія) съ урѣзска-

ми и вставками, нѣсколько обезцвѣчивавшими его умственную фізіономію, такъ что, для полнаго ея возстановленія, читателю приходилось уже освѣжать въ своей памяти тѣ душевныя движенія, которыя выносились имъ раньше—изъ давно прочитанныхъ романовъ Достоевскаго.

Резюмируя все это, онъ могъ бы, въ видахъ строгой послѣдовательности, вѣско и проникновенно утверждать: Вотъ почему народная масса—консерваторъ по преимуществу. И она никогда не представитъ изъ себя того мягкаго воска (какъ наша интеллигенція), изъ котораго можно было-бы лѣпить, по своему шаблонному желанію, всякія политическія, а тѣмъ паче—конституціонныя-то фигурки. Онъ могъ бы дѣлать отсюда и слѣдующій категорическій выводъ: Между консервативными симпатіями народныхъ массъ и прогрессивными стремленіями либеральной интеллигенціи всегда велась, и будетъ вестись, непрерывная борьба. Эта борьба не бросается въ глаза только для поверхностнаго наблюдателя. Но тѣмъ не менѣе она существуетъ и ведется, хотя и глухо, но сознательно и упорно. И чѣмъ глуше ея проявленія, тѣмъ напряженнѣе выражаются при этомъ и національныя симпатіи массъ. Ибо тотъ, или другой кругъ народныхъ симпатій всегда представляетъ извѣстную комбинацію мнѣній и интересовъ, имѣющихъ, во всякомъ случаѣ, вполне традиціонный характеръ, который эмпирически связываетъ всѣ наши взгляды и настроенія, а подчасъ, даже и интересы минуты—злобы дня—съ идеями прошедшаго. А это-то и придаетъ всей сферѣ консервативныхъ положеній, имѣющей свои корни, конечно, въ народѣ, значеніе необходимой части историческаго цѣлага, сложившагося въ такой цѣлесообразный,

идейный организм, который всегда будетъ возвышаться и надъ индивидуальной жизнью, и даже надъ жизнью безчисленныхъ рядовъ цѣлыхъ поколѣній.

Симпатіи къ прошлому, жизнь „по старинѣ“, послѣ религіи, суть главные, какъ это проникновенно было понято и въ Бозѣ почившимъ Императоромъ Александромъ III, факторы внутренняго міра нашего народа. Одними ими поддерживается въ немъ сознаніе полноты его жизни и только ими одними сохраняется въ немъ и самая же эта непосредственная-то свѣжесть его чувствъ. И весьма понятно, что они вполне сроднились съ душевнымъ строемъ народа, выработавшаго этотъ націонализмъ вполне уже многострадальнымъ историческимъ путемъ. За все время своего почти тысячелѣтняго существованія, народъ нашъ являлся самымъ упрямымъ доктринеромъ. И онъ настойчиво стремился лишь къ одному— воплотить въ своей національности *православно-нравственную* доктрину, жизнь по которой обладаетъ, въ его глазахъ, престижемъ святости и обаяніемъ всей прелести легендарнаго прошлаго его предковъ. Идеаломъ же этой доктрины служить то, что и по сіе еще время составляетъ—какъ это признаютъ и за границей—отличительныя свойства нашего народа: его непосредственная религіозность, закупающая простота, добродушная покорность судьбѣ и поражающая выносливость. А съ такими свойствами воплощеніе въ жизни религіозно-нравственныхъ началъ не можетъ утратить въ общей массѣ народа, своего всегдашняго настойчиваго проявленія, не смотря на тормозящее сопротивленіе западной культуры, въ теченіе двухъ-сотъ лѣтъ насильственно намъ прививаемой.

Все это апріорнымъ путемъ мысли и не посредствен-

нымъ чувствомъ своей, богатой впечатлѣніями психики зналъ Достоевскій, этотъ замѣчательнѣйшій человѣкъ нашего времени, слишкомъ много вынесшій изъ своей (также, какъ и у народа) многострадальной жизни. И при такой-то вотъ опредѣлительности взглядовъ на громаднѣйшее значеніе національныхъ особенностей, какимъ поражающимъ диссонансомъ крайняго космополитизма раздавались подчасъ его заявленія, какъ напримѣръ—заявленіе о необходимости введенія и у насъ „полнаго и окончательнаго уравненія правъ“ съ евреями. Избалованный особымъ даромъ своего предвидѣнія, весьма часто проявлявшимся въ его романахъ, онъ и въ публицистики также докторально восклицалъ: „Но буди! буди!“ „Да будетъ полное единеніе племень и никакой разницы правъ! *) Ужъ это-ли не самый широкій космополитизмъ доходящій до черты полнаго безразличія и совсѣмъ неожиданнаго забвенія племенныхъ основъ?!... Казалось, онъ могъ-бы исполосовать на части каждое славянофильское сердца ножемъ ужъ не европейскаго, а юдофильскаго просвѣщенія, и отнести его животрепещущимъ прямо на жертвенникъ печатнаго органа новыхъ, „интеллигентныхъ“ семитовъ,—къ тѣмъ, по его словамъ, „хорошимъ людямъ“, вѣру въ перерожденіе которыхъ, купно съ либерализмомъ, не терялъ и Достоевскій. Только для этого требовалось, по его словамъ, одно и—самое крохотное условіе; полное „братство съ обѣихъ сторонъ“. Тутъ было оставлено непричемъ даже и самое „различіе“ вѣроисповѣданій,—различіе, доходящее у обѣихъ сторонъ до чувства омерзительной гадливости и коренящееся въ диаметральной противоположности началъ

*) Стр. 97. Т. 11 соч. Достоевскаго.

христіанскаго милосердія съ началами монсеевскаго „око-за-око“. Но этотъ полный и такой богатый контрастъ потребовался его панславистскому букету, какъ самый рѣдкостный, махровый цвѣтокъ: его пышные махры принципіальнаго космополитизма были-бы наилучшимъ украшеніемъ „общечеловѣчности“ и краснорѣчиво свидѣтельствовали-бъ о чудодѣйственной-то силѣ западной культуры... Что это—новое заигрываніе и здѣсь? Или-же это — остатки прежняго почтенія его предъ „святостью“ либераль-европейской науки?—И то, и другое. Да наконецъ, еще и третье—необходимость быть, или, по крайней мѣрѣ, хотъ казаться послѣдовательнымъ. Здѣсь сказывается крайняя логическая нужда—связать, во что-бы то нистало, „святость“ конституціонныхъ чудесъ Европы съ муссированіемъ будущихъ чудесъ федеративнаго панславизма: въ ultra общечеловѣчности его идеи, сугубо насыщенной гуманизмомъ Запада, неизбѣжно долженъ будетъ раствориться даже и упорный юдаизмъ сей.

На первый взглядъ казалось бы, что это—геркуле-совы столбы космополитизма. Но съ другой стороны, съ точки зрѣнія его „вселенскаго“ братства, репутаціи такого опытнаго писателя, какъ Достоевскій, это не могло принести большаго вреда и дискредитировать его славянское дѣло и задушевные симпатіи. Да наконецъ, и самый этотъ юдаизмъ-то—онъ, вѣдь, такъ антипатиченъ всѣмъ національностямъ, такъ сильно исторически-сложившееся противъ него общее предубѣжденіе, что принципіальное снисхожденіе къ нему, ни въ какомъ случаѣ не могло-бы закрасться ни въ одно, хотя бы даже и самое широчайшее космополитическое сердце. Глаженъ же по головкѣ интеллигентныхъ семитовъ,

кроме принципіальной послѣдовательности, могло принести еще и практическую пользу: „хорошіе люди“ изъ евреевъ еще болѣе расширяли-бъ кредитъ автономнаго-то панславизма. А лишь одному ему посвятилъ тогда Достоевскій все свои публистическія силы и, разочарованный общимъ ходомъ западнаго прогресса, только въ немъ одномъ ужъ видѣлъ онъ новую стадію того „преемственнаго развитія“, отъ котораго онъ—наслѣдникъ идей сороковыхъ годовъ—всецѣло отречься не могъ. Поступить иначе, заглушить въ себѣ все проблески цивилизаторскихъ наклонностей, сжечь, какъ Л. Толстой, все культурные корабли и, любуясь этою картиною, повернуться спиной къ прогрессу будущаго,—было-бы непосильной жертвой характера его ума,—ума, хотя и метафизическаго закала, но философски необоснованнаго и въ этомъ отношеніи почти недисциплинированнаго.

Народныя традиціи наши, немогшія мряться съ европейскими возрѣніями, были заключены Достоевскимъ въ прочныя рамки его сочувствія этому самому генестическому-то прогрессу. Ломка же ихъ требовала гигантскихъ волевыхъ усилій и чисто апостольской духовной послѣдовательности, не признававшей ничего, кроме идейной возвышенности мысли и неподкупной для житейскихъ вождѣленій правды. Стать на желанную высоту объективнаго отношенія къ послѣднимъ и испытующе взглянуть оттуда на истинную роль культуры, въ смыслѣ ея отрицательнаго значенія для нравственнаго совершенства личности, опуститься потомъ внизъ, снизойдя до безъукоризненной послѣдовательности и благородной простоты въ поступкахъ народныхъ массъ, и снова подняться до широкой безстрастности, до сковыванія этихъ низменныхъ-то плотскихъ желаній нашихъ

религиозно-нравственными стимулами,—требовался философскій, по преимуществу метафизическій размахъ мысли и строго объективная ширь и глубина ея кругозора, а не одинъ психологическій синтевъ романиста и образность мышленія,—не одно художественное проникновеніе въ тайники скорбящей души. Для этого требовалась радикальная ломка своего внутренняго міра, обыкновенно сопровождающаяся рѣзкими переходами отъ широкой, страстной жизнерадостности къ самому беспросвѣтному пессимизму. И только этотъ путь теоритической ломки могъ прочно установить понятіе того, что —ложь и что истина. А такіе мучительные внутренніе процессы не могутъ обусловливаться однимъ лишь мистичетки-резонерствующимъ склядомъ души и удовлетворяться черствымъ хлѣбомъ символизма, какъ бы тщательно онъ не размачивался этой культурной похлебочкой—нашей современной жизнью. Въ водоворотѣ послѣдней религиозные стимулы и возвышенной философскій укладъ мысли тонуть безвозвратно и ужъ во всякомъ случаѣ, вѣковѣчныя-то начала нравственности не въ состояніи высоко поднятка надъ культурной средой и ея призрачной правдой. Психологическій анализъ внутренняго міра выводимаго на сцену беллетристическаго персонажа будетъ тутъ не достаченъ; художественный синтевъ литературнаго произведенія—некомпетентенъ, не смотря даже и на чарующую прелесть образнаго мышленія: ибо богатство фантазіи и психологическихъ концепцій не закупятъ золевыхъ усилій читателя въ той мѣрѣ, чтобы подняться выше растилающагося предъ нимъ соблазна чувственной дѣйствительности. Оторваться-же отъ нее совсѣмъ, чтобъ совершенно независимо, и уже сверху внизъ взглянуть на нее—

удѣлъ не романиста. Онъ, вѣдь, не созидаетъ въ своемъ читателѣ горняго-то духа, такъ величаво парящаго надъ вульгарными стремленіями заурядной мысли и, въ глубочайшемъ проникновеніи, созерцающаго свѣтлые перспективы жизни очищеннаго имъ человѣчества. Это —удѣлъ объективнаго моралиста, проповѣдника, пока еще мысленно и теоретически, но всецѣло и безъ уступокъ отрекающагося отъ ложныхъ условій культурной жизни и въ тоже время, дающій надежду явить собою тотъ драгоценный въ проповѣдникѣ примѣръ собственной жизни, который такъ краснорѣчиво свидѣтельствуешь объ искренности сознанія горькой доли человѣка, „ходяща на двѣ стези“.

Въ романахъ, особенно въ послѣднемъ (Братья Кармазовы) Достоевскій отрѣшился, или, по крайней мѣрѣ старался цѣлостно и законченно отрѣшиться отъ этого хожденія „на двѣ стези“, Но онъ не старался дѣлать цѣлостныхъ попытокъ умственной устойчивости въ публицистикѣ. Раздвоенность взглядовъ и противорѣчія его симпатій давали себя знать тамъ частенько и уничтожали впечатлѣніе той законченности и той стройности внутренняго міра, которая закрадывается въ самую глубину-глубинъ читателя въ его святая-святыхъ, гдѣ ужъ нѣтъ мѣста ни малѣйшей частицѣ неискренности и откуда только и могутъ исходить все наши, чуткіе къ не правдѣ помыслы. Не даромъ-же въ эту скинію мышленія допускаются одни лишь первосвященники безкорыстныхъ святыхъ интуцій; низшіе же ранги духовной іерархіи—литературные левиты могутъ только славословить высшую тайну, незримо для всѣхъ, тамъ совершающуюся, и, смотря по силѣ своего увлеченія и глубинѣ чувствъ—создавать въ „стенающей“ интеллигент-

ной толпѣ мытарей, или фариссеевъ. Достоевскій, какъ романистъ, создалъ тьмы мытарей; но какъ публицисту ему не выпала такая завидная доля. Пришлось создавать ужъ нѣчто среднее между фарисеемъ и мытаремъ, — нѣчто безразличное; правда, стремящееся къ чему-то возвышенному, но въ своемъ стремленіи ставящее ближайшей цѣлью обоюдодовыгодную сдѣлку, взаимныя уступки, ради идальныхъ благъ „всечеловѣчности“ и реальныхъ выгодъ взаимнаго „всепрощенія“. Всечеловѣчность и всепрощеніе это — благородныя темы въ публицистикѣ и — такія конкретныя сущности, которыя имѣють нѣкія кажущіяся достоинства. — достоинства скорѣе отрицательныя, весьма недалекія даже отъ приторно-либеральной маниловщины и цивическо-литературнаго благодушія. Погруженной въ эти милыя, и слишкомъ эфемерныя ужъ свойства, „культурной“ личности трудно будетъ разобраться и разграничить всю сложную совокупность людскихъ отношеній на двѣ противоположныя-то полусферы, въ которыя можно было-бы уложить отдѣльно — добро и зло. При такихъ блаженно-гуманныхъ мотивахъ дается широкій просторъ условности понятій и безразличію общихъ мѣстъ. Тутъ весьма легко можетъ получаться вовсе не желательное даже нравственное удовлетвореніе личности весьма узенькой моралью и ея едва-едва лишь приближающимся къ истинѣ полурѣшеніемъ. Эти, производимыя просвѣщенными ламентациями душевные приливы, не достигая коренныхъ и болѣе возвышенныхъ цѣлей человѣчества, тѣмъ не мнѣе, однако-жъ, заносятъ постепенно инстинктивныя-то, первобытныя потребности добра, такъ заботливо вложенныя въ человѣческую натуру вмѣстѣ съ религіознымъ чувствомъ и такъ энергично быющія

оттуда живымъ ключемъ истины, безъ всякаго медвѣжьяго содѣйствія прогресса, или науки.

За нее, за науку Достоевскій уже не могъ расширяться съ азартомъ новичка, какъ прежде. То, какъ извѣстно—дѣла „давно минувшихъ дней“, но—дней, будившихъ въ его впечатлительной натурѣ былия чувства молодости, которыя когда-то носились въ научной выси конца сороковыхъ годовъ, и тонули въ заоблачной дали перспективъ „свободнаго изслѣдованія“, и проч., и проч. . . . Положимъ, что потомъ эта бездна свободнаго изслѣдованія, разверзавшаяся передъ ногами людей съ атенстическимъ пошибомъ ума, наводила на него неодолимый ужась, — инстинктивное чувство страха. Но вѣдь, за перспективной далью этой бездны, въ радужномъ пространствѣ разума, обрисовывались же предъ его воображеніемъ и спасительные маяки цивилизаци! Освѣщались они, правда, фальшфейеромъ прогресса (этого ужъ онъ не могъ не понимать) частенько-таки и отсырѣвавшимъ во влажной-то атмосферѣ материализма и могшимъ подчасъ даже и совсѣмъ не воспламениться. Такъ за то ихъ мимолетныя вспышки, освѣщавшія желанный берегъ культурнаго материка, благодаря этой пламенной вѣрѣ въ науку, вливались въ сердца потерпѣвшихъ нравственное кораблекрушеніе такой широкой, захватывающей духъ, волной надежды на материалистическое-то счастье, что эти жизнерадостныя чувства не поддавались никакой оцѣнкѣ.—И возвышенное созерцаніе идеѣ „тихаго пристанища“, какъ то ужъ совсѣмъ нежданно и негаданно заслонялось тогда этой пластичностью и осязаемостью сооблазна культурныхъ благъ.

Психологическую схему желаннаго пути къ этому

пристанищу, въ видѣ намека очерченнаго хотя и въ мистической фабулѣ, но съ замѣчательной выдержкой фантазіи религіознаго полета—далъ намъ Достоевскій въ своемъ: „Снѣ смѣшного человѣка“. Это—одна изъ самыхъ лучшихъ его публицистическихъ статей. Въ ней снова выразилась характерная сторона его таланта способнаго живѣе и ярче воплотить свою мысль или въ оригинальной фабулѣ романа, или, какъ въ данномъ случаѣ, въ какомъ-то сверхчувственномъ, скорѣе аллегорическомъ описаніи душевнаго состоянія и созерцательнаго процесса мысли, одновременно совершающихся въ нашемъ „я“. Этотъ самочувствующій центръ не довольствуется однимъ внутреннимъ самоуглубленіемъ. Авторъ заставляетъ его витать по всѣмъ периферіямъ мистической области и останавливаетъ его на религіозныхъ чувствахъ другого уже міра, далекаго, первобытнаго, совсѣмъ нетронутаго цивилизаціей и тлетворнымъ дыханіемъ культуры еще неоскверненнаго. Туманное, чуть не безпредметное и совершенно фантастическое описаніе, въ видѣ сна, неконтролируемаго ни бодрствующими чувствами нашими, ни разумомъ, связывается здѣсь идеей символизма, помогающаго воображенію ухватить тѣ религіозныя нити, которыя скрѣпляли бы чувственную область бытія со сверхчувственной. Это—образное представленіе живой связи, отыскиваемой авторомъ въ нашемъ „я“, между его чисто психической дѣятельностью и общественными условіями, необходимыми для приобрѣтенія личностью идеальныхъ, жизнерадостныхъ чувствъ, испытываемыхъ ею только въ моменты ея религіознаго состоянія. Это—высшая, трансцендентная необходимость убѣжденія въ вѣчномъ, негибнущемъ значеніи нравственнаго начала: гдѣ оно

есть и царить всецѣло въ неизмѣнномъ сопряженіи съ идеей Бога,—тамъ наступаетъ и полное примиреніе духа вызывающее въ тоже время и наше духовно-радостное, оптимистическое воззрѣніе. Религіозная жизнерадостность эта вводилась авторомъ въ его статью, какъ противувѣсь культурно-пессимистическимъ взглядамъ. Взаимнѣ послѣднихъ, религіозныя чувства неизбѣжно выведутъ наши свѣтлыя воззрѣнія на природу и жизнь вообще изъ ихъ скрытаго, потенціального существованія. А вызвавъ ихъ къ жизни и прочно водворивъ въ душѣ человѣка религіозную жизнерадостность, они уже не допустятъ и этого современнаго оскверненія ея научно обставленной ложью и уродливымъ сомнѣніемъ теперешняго раціонализма и позитивныхъ знаній.

Написанная по поводу самоубійствъ, статья эта очевидно, отвѣчала тогдашней злобѣ дня, и направлялась по адресу философскаго пессимизма, проповѣдывавшагося Гартманомъ и забредшаго къ намъ въ благопріятное для него время,—во время нарождавшейся уже и у насъ разочарованности либерализмомъ. Къ удивленію наивныхъ „друзей свободы и прогресса“, тогда у насъ стали часто появляться весьма нежелательные либераламъ симптомы, свидѣтельствовавшія о значительномъ упадкѣ душевныхъ силъ интеллигенціи. Тогдашніе прогрессисты награждали этотъ, разрыхлявшій силу воли упадокъ ученой степению какого-то міроваго всеразлагающаго скептицизма. Подобнымъ пріемомъ каждый угрюмый носитель соціаль-гражданской скорби тщательно облѣплялся ими сусальнымъ ореоломъ раздобытой О. Контюмъ философски-соціологической науки. Прислуживающіе же ей беллетристы компановали черты этой скорби въ яко-бы художественные образы. Но въ сущности, за

отсутствіемъ яркихъ красокъ, они только прищипливали къ нимъ свой возлюбленный ярлыкъ: вотъ, молъ, онъ— „готовый пострадать“ за идею-то. Таковые „продукты реальной школы“ беллетристика того времени, на страницахъ своихъ передовыхъ журналовъ, обязательно должна была посылать: или въ либеральные салоны— вносить туда обаяніе идейно-страдальческаго лица, или въ народъ—штудировать тамъ политико-соціальныя настроенія заново-создававшагося „умственного“ мужичка; или же, вооруживъ эти „продукты“ револьверомъ съ толкучки, заставляла ихъ покончить въ своей квартирѣ всѣ расчеты съ „глупой жизнью“, а стало-быть—ужь заодно—и съ своимъ малотребовательнымъ читателемъ. Послѣдствія сихъ „инцидентовъ“, если только таковые встрѣчались и въ практикѣ, безпокоили, какъ и надо было ожидать, не однихъ лишь дворниковъ, да околоточныхъ. Статистическія выкладки и теоретическія изысканія причинъ этихъ „печальныхъ“ явленій обременяли мозги еще и назойливыхъ репортеровъ и дошлыхъ публицистовъ. Они обязаны были связывать эти одиночные факты маньячества съ нашимъ, видите-ли, „обветшалымъ“ общественнымъ порядкомъ, и умилительно—со всѣмъ лиризмомъ доморощенной скорби неуклюжаго бурсака—разливаясь воплемъ о погубленной-де задаромъ могучей силѣ воли.

Въ полутонъ либерализму скорбѣлъ и Достоевскій; но современная тема скорби варіировалась имъ, въ его „Дневникахъ“ совсѣмъ иначе. Начавшись въ унисонъ укора общественному распорядку, эти варіаціи, понемногу видоизмѣняясь, сочетались потомъ довольно характерно и разнообразно то съ требованіями нравственности, вообще, то съ экономической неспособ-

ностью бѣдняка—въ частности. А затѣмъ, когда они, эти варіаціи, какъ бы случайно попадали въ соотвѣтствующій уже внутреннему міру Достоевскаго тонъ,— въ тонъ отечественной религіозности и народной психологии, то полутонная тема либерализма исчезала тогда совсѣмъ, замѣнившись новымъ, звучнымъ мотивомъ.... И виртуозъ-художникъ Достоевскій стиралъ съ лица земли Достоевскаго-публициста.

Но и въ этой вольной стихіи, въ которой ему, первоначальному романисту пріятно было ширять сизымъ орломъ по поднебесью—онъ чувствовалъ себя, какъ публициста, не совсѣмъ-то ловко. Одинъ уже эпитетъ „смѣшнаго человѣка“ относимый имъ къ самому же себѣ, уже невольно наводитъ васъ на мысль о публицистическихъ авансахъ тому прогрессу, который самъ-то именно всегда и щеголяетъ своимъ атеистическимъ отбѣнкомъ и либеральнымъ лоскомъ. Впрочемъ, кромѣ этого лёгонькаго дѣланья литературныхъ глазокъ, въ его „Снѣ“ какъ отдѣльно взятомъ фантастическомъ рассказѣ, не найдется ничего такого, что могло-бы быть поставлено ему насчетъ его неполной искренности. Напротивъ, все въ этомъ „Снѣ“—наяву, согласно цѣлямъ автора, волнуетъ религіозныя чувства бодрствующаго читателя,—волнуетъ величіемъ созерцанія этой, какъ бы сказать, религіозной панорамы, этого стройнаго ряда воображаемыхъ картинъ нашего безсмертія, и наконецъ этого вѣчнаго духовнаго существованія нашего представляемаго въ отвлеченіи и взятаго какъ бы внѣ пространства и времени. Все внѣмъ, въ „Снѣ“ этомъ, связываетъ его жизнерадостнаго жителя нашей матери - земли, съ идеей безконечности, такъ полно отвѣчающей на метафизическіе запросы нашего

ума и такъ убѣдительно говорящей нравственнымъ требованіямъ каждаго теплящагося религіознымъ свѣтомъ сердца. Отъ этой эпизодической обрисовки религіозно-нравственныхъ движеній души вѣтъ особымъ духовнымъ тепломъ, совершенно изгоняющимъ холодъ религіознаго равнодушія и какъ-то любовно и мягко согрѣвающимъ даже и ту грубую, суровую душу, которая, отсырѣвъ въ теоретическомъ матеріализмѣ, была готова совсѣмъ заскорузнуть въ этой безнравственной атмосферѣ практическихъ-то полезностей.

При подобномъ, горнемъ полетѣ духа, выражаемомъ Достоевскимъ аналогично понятіямъ народа для лучшаго же уразумѣнія всей глубины и непосредственной цѣльности его впечатлѣній, идея безконечности служитъ несокрушимымъ оплотомъ религіозныхъ чувствъ вѣрующаго, и мысль о безсмертіи души, логически вытекающая отсюда, осѣняетъ человѣческую волю самыми истовыми стремленіями къ высочайшей нравственности. Тутъ—въ народной средѣ, надъ обыденными, простыми и вполнѣ невинными матеріальными заботами,—поверхъ этихъ скудныхъ-то насущныхъ потребностей крестьянской жизни, всплываютъ только самыя идеальнѣйшія чувства, символически постигаемая нашимъ народомъ и детально воспроизводимыя имъ всею совокупностью его трудовой жизни. И онъ—любовно пѣствуетъ ихъ, блаженно-закупающе восхищается идей, „не отъ міра сего“ идущей добродушно и симпатично распространяетъ свою незлобивость даже и на „уничажаящихъ“ его. А затѣмъ, осмысливъ до замозабвенья нравственными принципами свой трудовой путь, спокойно умираетъ, въ полной увѣренности человѣка, безупречно передавашаго христіанскій завѣтъ личнаго совершенствованія, на почвѣ

этого неустнаго-то труда, родной семьѣ своей, которая и восприметь завѣтъ сей съ надлежащей благовѣйностью религіозно-правственныхъ чувствъ истиннаго труженика.... „Придите ко мнѣ вси труждающіися и обремененіи, и Азь упокою вы“—звучать безъ страха помышляющему о смерти простолюдину своимъ безконечнѣйшимъ милосердіемъ, и высочайшій призывъ этотъ служить наилучшимъ утѣшеніемъ его души, безкорыстно своему ближнему всегда соболѣзновавшей.

Идеалистъ по существу своихъ воззрѣній, народъ нашъ замѣчательно равнодушенъ къ житейскимъ благамъ и поразительно ревнивъ къ религіозно-правственнымъ принципамъ, обезпечивающимъ мысли ея постоянную заботу о загробной жизни. Культурный же человекъ—материалистъ по существу своихъ воззрѣній, наоборотъ, съ безпечностью жуира, игнорируетъ загробное будущее и страшно ревнуетъ эти житейскіе-то блага. И только ужъ по одному этому, онъ, какъ сладострастный поклонникъ культуры, оскорбляемой измѣной или даже однимъ только равнодушіемъ своей возлюбленной, дѣлается способнымъ, съ атеистическимъ шикомъ и философской помпой всадить себѣ въ лобъ пулю. Да, впрочемъ, при безусловномъ отсутствіи идеи безконечности и не нормальномъ, чисто болѣзненномъ смакованіи въ своихъ представленіяхъ современнаго комфорта, и болѣе-то образованная часть контингента этихъ сластолюбцевъ склонна къ самымъ пошлымъ-нископробнымъ наслажденьямъ. Но что всего пошлѣе, такъ это-то, что она рекламируетъ объ этомъ съ беззасѣнчивѣйшимъ вольнодумствомъ и пронырливой наглостью. Понятно, что, при острой и самой жгучей жаждѣ наслажденій, успѣшно распаленной теоріей материализма, она быстро раздѣляется

съ вопросами предвѣчности и гомерически хохочеть надъ донкихтскими исканіями „пустаго мѣста“ загробной жизни. А если это—такъ, если тамъ дѣйствительно пустое мѣсто, наполняемое „чѣмъ-то“, благодаря только невѣжественному страху, неспособному-де вырвать у механической природы ея тайнь, — такъ на что же сдадутся тогда человѣчеству и самыя религіозно-нравственныя начала эти?! Онѣ вѣдь, только отягощаютъ путь „свободнаго изслѣдованія“!

Но и за всѣмъ тѣмъ идея, безконечности такъ обща обоимъ воззрѣніямъ—идеализму и матеріализму, а категоріи теллелогичности, цѣлесообразности всего существующаго настолько присущи человѣческому пониманію, что и мертвый матеріализмъ, поклонникъ механичности, ищетъ этой живой-то силы духа, если не въ теологическихъ запросахъ души, то хоть въ логическихъ требованьяхъ ума, удовлетворяющагося только установленіемъ во всемъ законовъ причинной связи и отыскивающаго повсюду, какъ равно и во всѣхъ проявленіяхъ духовной жизни личности, смысла и высшаго назначенія. Поиски эти, въ концѣ-концовъ, неизбежно оканчиваются признаніемъ главенства въ жизни духовныхъ началъ и господства нравственныхъ положеній, названныхъ теперешнимъ знаніемъ альтруизмомъ. Но, къ сожалѣнію, исходной точкой послѣдняго матеріалисты дѣлаютъ не религію и сердце, а знаніе и умъ.—И въ этомъ заключается ихъ капитальная ошибка.

Принятый мѣриломъ нравственной высоты, „просвѣщенный умъ“ матеріалистовъ создалъ для современнаго общественаго обихода доктрину социализма, преслѣдующаго будто-бы этическія цѣли. Но напрасно поборники социализма стараются увѣрить насъ, что эта доктрина

покоится на чисто нравственныхъ началахъ. Вооруженный инстинктивно противъ ихъ безбожныхъ началъ, покоящихся на основахъ какой-то особой (научной) нравственности, умъ идеалиста не можетъ упускать изъ вида еще и того важнаго обстоятельства, что эта доктрина лишена преднамѣренно нравственнаго-то элемента. Покоится же она собственно на стремленіи челоуѣка къ *наслажденно личнымъ счастью*,—т. е. на безпредѣльномъ развитіи нашего эгоизма и на доставленіи намъ наибольшей суммы матеріальныхъ благъ. За эти бранныя блага она рекомендуетъ личности борьбу—не на животъ, а на-смерть и уже тѣмъ самымъ вкладываетъ въ нее самыя узкія, матеріалистическія побужденія. А разъ побужденія эти—господствующи и исключительны, то нравственныя начала уже убиваются ими—наповаль. Въ результатѣ остаются развѣ какія нибудь жалкіе клочья альтруизма,—компромиссы остатковъ совѣсти съ желаніями личности пріобрѣсти, во что бы то ни стало, эти заманчивыя культурныя-то блага:

Утверждая такъ рѣшительно и категорически что либо отрицательное и направленное противъ этой „могучей силы будущаго“, долженствующей объявиться, во всемъ блескѣ своего обновляющаго величія „въ 2000-мъ году“, можно быть увѣреннымъ впередъ, что наши соціалъ-либералы обвинять насъ въ убійственномъ невѣжествѣ и самомъ-де жалкомъ пониманіи духа соціализма. Но этотъ упрекъ мы можемъ смѣло обратить къ нашимъ же противникамъ, рѣшительно утверждая, что они не понимаютъ самой-то сути соціализма. Основы его идутъ вразрѣзъ съ нравственными началами; ибо послѣднія, по нашему мнѣнію, враждебны научному матеріализму и соціалистическимъ воззрѣніямъ еще и чисто принципіально.

Успѣхи социализма, какъ вербующей прозелитовъ доктрины, только и могутъ быть объяснены тѣмъ, что она бьетъ на одни, лишь осязаемая блага, будучи рассчитана на чувственныя, животныя (à la Ницше) инстинкты человѣчества, а не на нравственную его сторону. Социализмъ не сулитъ культурному человѣку журавля въ небѣ, прекрасно сознавая, что тотъ предпочтетъ скорѣе сипицу въ рукахъ. Затаенно, лукаво и артистически-коварно соображаетъ онъ, что осязаемая награда скорѣй не осязаемыхъ подѣйствуютъ стимулирующимъ образомъ на культурную-то массу; что солидарное съ нравственностью самоотреченіе отъ матеріальныхъ благъ составляетъ удѣлъ только одного подвижничества, являющагося въ культурномъ слоѣ чловѣчества безусловно лишь самымъ рѣдкимъ исключеніемъ. И если перспектива неосязаемой награды дѣйствительно не можетъ стимулировать культурнаго человѣка къ воспріятію извѣстной доктрины, то социализмъ, лишенный стремленія къ матеріальнымъ благамъ, не представлялъ-бы для него ничего заманчиваго. Съ этой точки зрѣнія расчетъ ревнителѣй социализма дѣлается совершенно яснымъ. Точно также были понятны, въ виду этого, опасенія и представителей идеализма, къ числу которыхъ принадлежалъ, конечно, и Достоевскій: они совершенно основательно боялись этихъ современныхъ данаевъ, дары культуры намъ приносящихъ. А между тѣмъ эти дары „свободной мысли“, нисколько не скандализируя общественнаго настроенія, еще больше упрачивали довѣріе образованнаго общества къ „всеобъемлющему“ значенію просвѣщеннаго ума, а ни капелички-де не связаннаго этими путями религіозно-дѣтскаго легковѣрія.

Противъ него, противъ этого самаго просвѣщеннаго-то

ума, да еще и какъ критерія нравственности устанавливаемого, Достоевскій и выступилъ болѣе энергично въ своемъ „Снѣ“, направивъ въ него, т. е. не въ „Сонъ“, а въ этотъ кладезь мудрости, въ этотъ самый просвѣщенный-то умъ, всѣ стрѣлы своего религіознаго чувства. Но выбить его изъ этихъ окопъ цивилизаціи онъ не могъ, такъ-какъ концы его публицистическихъ стрѣлъ не были отравлены тѣмъ ядомъ отрицанія культуры и прогресса, которымъ такъ щедро были пропитаны тенденции его романовъ. Если же въ этомъ „Снѣ“ онъ художественно и изобразилъ заразу цивилизованной лжи, внесенную культурнымъ человѣкомъ въ первобытный міръ, то и это, можно даже сказать довольно очевидное отрицаніе культуры какъ-то широко расплывалось во всѣхъ статьяхъ его „Дневника“. А въ немъ „Сонъ“ этотъ, надо замѣтить, былъ вставленъ мимоходнымъ этюдомъ, между вопросами политики и адвокатуры, не безъ задней же мысли. Въ такомъ видѣ либеральный читатель могъ взглянуть на проводимую тамъ религіозную идею, какъ на мотивъ втростепенный. Господствовавшіе-же тогда въ литературѣ мотивы, старательно поддерживавшіе благодѣтельность „функции“ просвѣщеннаго ума, оставались и здѣсь, и во всѣхъ его публицистическихъ статьяхъ, въ извѣстной степени неприкосновенными, и великодушно поручались охранѣ отнюдь не религіозной, а просвѣщенной нравственности, составляющей всежъ-таки, молъ, обще-признанную высшую ступень современнаго прогресса.

Со стороны Достоевскаго это не было порученіемъ близорукимъ, наивно предоставлявшимъ просвѣщенному козлу стеречь нравственный огородъ. Настолько близорукимъ онъ не могъ быть: порукой въ этомъ чита-

телю—почти-что всѣ его романы, безпощадно клеймившіе печатью отрицанія многіе плоды современнаго прогресса. Но онъ видѣлъ, что сознательное публицистическое вытравливаніе плодовъ либеральнаго просвѣщенія, не замаскированное романической фабулой, считалось тогда дѣяніемъ, въ вину вмѣняемымъ и подлежащимъ строжайшему суду литературныхъ криминалистовъ. Послѣдніе, пользуясь партійными правами журнальной власти, могли упрятать его въ мѣста столь отъ популярности отдаленныя, что онъ рисковалъ-бы долго оттуда не возвращаться*). Въ беллетристической же сферѣ его дѣяній надъ нимъ не могло быть судей, а если и были, то—такіе, компетенція коихъ вызывала въ публикѣ улыбку, убійственѣйшую для ихъ достоинства и власти.

Вотъ этотъ-то казовый конецъ публицистики Достоевскаго, его, какъ бы сказать, легонькое, наивно прославляемое г. Кони кумовство съ либерализмомъ и его терпимость къ научно-гуманному благодушеству—до нѣкоторой степени и мирила съ нимъ всѣ наши яко-бы политическія „фракціи“, такъ вождельнно мнившія о томъ, что, по непреложнымъ законамъ историческаго прогресса, Россія давно уже стоитъ на самомъ порогѣ конституціи, и не-нынче—завтра, а ужъ непременно она должна будетъ объявиться. И, тогда, конечно, восторжествуетъ вполне эта самая научная-то правда: „ибо какъ весьма удачно выражался въ такихъ случаяхъ Берне или—Гейне, что-ли?... (да впрочемъ это, молъ,

*) Живой примѣръ тому—бывшая (въ срединѣ 70-хъ годовъ) опала Тургенева,—и вѣдь за самое крохотное фрондерство противъ самодержавнаго-то либерализма.

все равно: дѣло-то не въ имени!) нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, въ естественномъ ходѣ исторіи, остановить руками обскурантовъ колеса прогресса"! „Нельзя-же“— и тому подобное, и тому подобное, все въ томъ же дискредитирующемъ русское самодержавіе родѣ И, кто только въ цивическомъ опьяненіи семъ, не мнилъ тогда объ этомъ соблазнительномъ-то: „не нынче—завтра“! Кто не захлебывался буржуазнымъ восторгомъ либеральнаго дѣльца, ожидая того самага, дальнѣйшаго-то, и яко-бы неизбѣжно логическаго движенія нашего по пути реформъ! Кто не лукавилъ съ Верховною Властью еще съ самага начала шестидесятыхъ годовъ! Кто въ безпримѣрномъ актѣ самодержавныхъ заботъ, начинавшемся великими словами: „Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, русскій народъ!“ не тщился видѣть, ужъ и тогда, кореннаго-то залога будущихъ, болѣе-де радикальныхъ реформъ въ нашемъ „цареградскомъ“ политическомъ строѣ! И кто, наконецъ, къ ехидному торжеству враговъ самодержавія, втайнѣ не упивался тогда возбуждающимъ созерцаньемъ сихъ, нарумяненныхъ-то красотъ, игриво кокетничавшаго съ „интеллигентомъ“ парламентаризма; или—кто-жъ не прелюбодѣйствовалъ съ нимъ хоть въ сердцѣ своемъ!?... Эти слухи о „не нынче—завтра“, получавшіеся будто-бы изъ первыхъ рукъ, близко стоявшихъ къ правительственнымъ сферамъ, настойчиво циркулировали въ обществѣ еще за долго до смерти Достоевскаго, ни единымъ словомъ, однако жъ, немолвившагося противъ сихъ упованій, такъ искусно поддерживавшихся тогдашнимъ хитроумнымъ либерализмомъ. Подобное либеральничающее поползновеніе къ сему литературному панибратству и это печатно заяв-

ляемое сочувствіе ко многому „прекрасному“, въ Европѣ сущему, дѣлало его весьма популярнымъ и даже создало ему дѣланныхъ друзей, ведшихъ съ нимъ довольно оживленную переписку, въ которой онъ, разумѣется, участвовалъ охотно, любезно отвѣчая имъ статьями своего „Дневника Писателя“.

Если разобраться въ нихъ по существу, откинувъ въ сторону всѣ тѣ, которыя вошли въ составъ его панславистскаго-то букета, то весь выжатый изъ нихъ публицистическій экстрактъ окажется довольно крѣпкимъ и благоухающимъ для торжества народныхъ началъ. Но взятый съ примѣсью тѣхъ жидкостей либераль-культурнаго уклада жизни, которыми авторъ этотъ экстрактъ иногда старательно подцвѣчивалъ—последній значительно терялъ въ силѣ своего благоуханія. И для того, чтобъ можно было пользоваться имъ съ большей выгодой для націонализма, пришлось бы подвергать его тщательной очисткѣ отъ этихъ, совсѣмъ ненужныхъ, а иногда и прямо-таки вредныхъ примѣсей. По всей вѣроятности, такое очищеніе, если-бъ Достоевскій дожилъ до нашихъ дней, было бы воспроизведено имъ самимъ,—особенно же въ виду нынѣшняго перелома нашего общественнаго мнѣнія, уже критически относящагося ко многимъ прелестямъ Запада. Это предположеніе покажется вполне вѣроятнымъ, когда мы примемъ въ соображеніе еще и то, что и самъ-то господинъ „свободный“ Западъ уже началъ воздавать нѣкоторую дань почтенія нашимъ традиціоннымъ устоямъ и основамъ нашей народной нравственности, неуклонно воспринимающей религіозный свѣтъ Востока.

Идеалистъ по природѣ, лишь случайно проникнувшійся сочувствіемъ къ матеріалистическому характеру

западнической интеллектуальности, Достоевскій, безсомнѣнія, не могъ любить ее сердечно и весьма частенько выметалъ онъ изъ нашей либеральной избы ея просвѣщенный-то соръ. Несмотря на свои публицистическія воспѣванія пресловутой „общечеловѣчности“, многія изъ солидарныхъ съ нею областей и нашихъ культурныхъ симпатій онъ выводилъ передъ читателемъ въ довольно-таки, выражаясь его же словами, „подсаленномъ видѣ“. Конечно, отъ этого получалось впечатлѣніе не рѣшимости, неладности, намекавшей на то, что нѣкоторыя изъ его публицистическихъ струнъ были настроены по непровѣренному камертону. Но и при всемъ томъ, никто не рѣшится не признать за нимъ права на замѣчательную энергію, съ которою онъ домогался отъ своихъ современниковъ того, что составляетъ несомнѣнное достоинство народа—вѣры въ себя, въ патриотизмъ національнаго чувства и въ православно-христіанскую нравственность. Въ нихъ, въ этихъ осново-началахъ народной психологіи онъ видѣлъ единственную возможность идейнаго обновленія нашей интеллигенціи и торжественно указывалъ ей на нихъ, какъ на неизсякаемый родникъ, изъ котораго придется черпать грядущимъ поколѣніямъ Россіи необходимое ей сознаніе своего національнаго достоинства и свое высокое патриотическое настроеніе. Насквозь пропитанный національной горностью и поэтому сильно ненавидѣвшій всѣ эти „тождества путей развитія“, онъ искренно презиралъ и всѣ космополитическія бредни, съ „путями“ сими тѣсненько связанныя. Тѣмъ не менѣе, выступать противъ нихъ рѣзко—было ему, нерѣдко молодившемуся прогрессомъ литератору, какъ говорится, не къ лицу, и онъ ужъ по необходимости обнаруживалъ свои грѣховныя попытки

къ соглашенію *кой-съ чьмъ*, въ Европѣ сущемъ и сердцу либераловъ столь любезномъ.

Но и идя на сдѣлку, онъ, среди всѣхъ этихъ панславистскихъ улаживаній и либеральничавшихъ preliminary, никогда не забывалъ о своей главной цѣли— поселить, или вѣрнѣе, снова водворить въ сознаниі нашей интеллигенціи, понятіе о томъ, что въ „европейской семьѣ“ Россіи принадлежитъ первое мѣсто,— если не въ культурно-научномъ (которымъ онъ въ сущности не очень-то и дорожилъ), то въ общественно-нравственномъ отношеніи, строго регулируемомъ психологіей народа.

Ф. Добролюбовъ.

1903 г. Одесса.

О п е ч а т к и:

Напечатано:

Слѣдуетъ читать:

10	стр.	14	строка	сверху	безпростѣтнымъ	безпросвѣтнымъ
12	"	1	"	"	позорно	и позорно
—	"	2	"	"	гайги	тайги
22	"	15	"	"	дѣянiя	даянiя
24	"	17	"	"	Психологиическiй	психологическiй
49	"	19	"	"	Генестическiй	Генетическiй
—	"	3	"	снизу	поступакакъ	поступкахъ
50	"	14	"	сверху	склядомъ	складомъ
—	"	8	"	"	синтебъ	синтезъ
51	"	4	"	свер.	свѣтлые	свѣтлыя
52	"	4	"	снизу	не мвнѣе	не менѣе

- Образованіе во Франціи. Низшее, среднее и высшее. П. Г. Мижуева
Спб. 1900 г. Ц. 1 р.
- Право на трудъ и интересы рабочихъ. Б. Отто, пер. съ нѣм.
Спб. 1901 г. Ц. 50 к.
- Что должна дать географія. Шубина. Спб. 1900 г. Ц. 30 к.
- Главные правила русскаго правописанія. Теорія русскаго ударенія.
А. Ельсина. Спб. 1900 г. Ц. 25 к.
- Полный ключъ къ учебнику французскаго языка. Б. Кленца, ч. I.
Спб. 1900 г. Ц. 60 к.
- Ключъ къ рѣшенію геометрическихъ задачъ. Эмзе. Ц. 20 к.
- Пособіе къ наглядному изученію географіи въ низшихъ классахъ
учебныхъ заведеній. В. Власова, 44 чертежа, 36 картинъ.
9 картъ Спб. 1902 г. Ц. 1 р. 40 к.
- Карта Европейской Россіи масштабъ 1:8.700,000, въ краскахъ.
Ц. 10 к.
- Повторительный курсъ уголовного права. Часть общая и особенная.
И. Рогалевица. Спб. 1901 г. Ц. 2 р.
- Краткій курсъ гражданскаго права. Часть особенная и наслѣд-
ственная, И. Рогалевица. Спб. 1902 г. Ц. 60 к.
- Краткій курсъ по международному праву. И Рогалевица. Ц. 1 р.
- Вопросы и отвѣты по уголовному судопроизводству. А. Г-ій. Ц. 1 р.
- Очеркъ теоріи государств. кредита. А. Залшупина. Ц. 1 р. 50 к.
- Вопросы банковской политики. А. Залшупина. Ц. 1 р.
- Справочная книжка по операціямъ Конторъ и Отдѣл. Государствен-
наго Банка М. Алехина. Ц. 1 р.
- Послѣдовательная вѣдомость сроковъ купоновъ процентныхъ бу-
магъ, котируемыхъ на С.-Петербургской биржѣ. Ц. 40 к.
- Страхованіе ипотечнаго кредита. какъ непремѣнное условіе
освобожденія частнаго землевладѣнія въ Россіи отъ задолжен-
ности. В. Гвоздинскаго. Спб. 1901 г. Ц. 25 к.
- Приемы хозяйства обогащеніемъ почвы, обогащающаго хозяина.
А. Дембовецкаго. Спб., 1901 г. Ц. 1 р. 25 к.
- Праздникъ въ Мадридѣ. М. Кайзерлингъ, Спб. 1900 г. Ц. 20 к.
- Еврейская богослужбная поэзія. Л. Цуцна. Спб. 1901 г. Ц. 30 к.

ДѢТСКІЯ КНИГИ:

1. Сказка о елочкѣ и каменномъ углѣ. Ц. 15 к.
2. На крайнемъ сѣверѣ. А. Гуммель. Ц. 15 к.
3. Приключенія Яоя. Э. Оржешко. Ц. 25 к.
4. Садко. Ц. 15 к.
5. Гадкій утенокъ. Навозный жукъ. К. Андерсена. Ц. 20 к.
6. Въ пучинахъ моря. А. Березини. Ц. 15 к.
7. Пастушокъ Лотарь. Л. Дидковскій. Ц. 20 к.
8. О первыхъ русскихъ князяхъ. Ц. 20 к.
9. Сказка о царѣ Салтанѣ. А. Пушкина. Ц. 20 к.
10. Разказы о животныхъ. М. Чепинской. Ц. 20 к.
11. Гуси. Дѣдушка Мазай и зайцы. Н. Некрасова. Ц. 15 к.
12. Владиміръ-Красное Солнышко. А. Ганбургеръ. Ц. 15 к.
13. Конвогазка. Индѣйская легенда. Ц. 15 к.

Всѣ 13 въ одномъ коленкоровомъ тисненомъ золотомъ
переплетѣ ц. 2 р. 25 к.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

«Силуэты и размышленія» (изъ автобіографической хроники шестидесятника). — Ц. 80 к.

«Прогорькій Романтизмъ Максима Горькаго» Ц. 50 к.
